



АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
ДАНИИЛ ГРАНИН

БЛОКАДНАЯ КНИГА



ЯУЗА

Москва
2022

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
А28

Адамович, Алесь Михайлович.

А28 Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин. —
Москва : Эксмо : Яуза, 2022. — 640 с.

ISBN 978-5-04-163376-9

Книга классиков русской литературы рассказывает о героическом городе на Неве. 900 дней Ленинград находился в кольце вражеской блокады, 900 дней защитники города и его жители показывали чудеса героизма. Эта книга о страданиях и мужестве, о любви и ненависти, смерти и бессмертии, на страницах книги разворачивается масштабная эпопея блокадных дней. Каждый очерк — судьба человека, в которой отражается пламя Великой Отечественной войны.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Шuvaгина-Адамович Н.А., 2022
© Гранин Д. А., наследник, 2022
© ООО «Издательство «Яуза», 2022
© ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-163376-9

Алесь Адамович

С ЧЕГО ПОШЛА, НАЧИНАЛАСЬ
«БЛОКАДНАЯ КНИГА»

Получилось как-то само собой. Хотя теперь, когда работа сделана, начинаешь думать, что были, были какие-то невидимые, но сильные токи — от Хатыней к блокадным ленинградским трагедиям — и что токи эти, импульсы, как раз и направляли мысли и намерения одного из авторов книги о Хатынях — направляли на Ленинград.

На Даниила Гранина вышел, когда решил этим заняться сам. Потому что сначала об этом не думал, лишь хотелось поджечь той работой, что проделана была в Белоруссии, чей-то энтузиазм в Ленинграде. А ты тут при чем и кто тебя просил, просит? Понимаю, что это так, сам над собой издевался, однако что-то заставляло. И не что-то, а именно то, что война была на всех одна <...>. Кроме того, внутренний гул от долгой работы над книгой «Я из огненной деревни...» все еще продолжался и, может быть, тоже подталкивал, требовал какого-то продолжения... Тем более что во мне уже жило несколько ленинградских историй, таких же пронзительных и мучительных, как наши хатынские. И услышал я их, кстати, от Галины Максимовны Горецкой, дочери классика нашей литературы Максима Горьцкого, когда ездил в Ленинград к семье писателя — писал книгу о его трагической судьбе и замечательных произведениях. Вон сколько случайностей, и как тем не менее все выглядит закономерно связанным с «Блокадной книгой»: трагедии наши вели, привели поиск к ленинградским, потому,

очевидно, что они, трагедии века, как подземные реки, связаны, сливаются. <...>

Я много читал о Ленинградской блокаде, но сердцем понял, как себя чувствовал там человек, лишь после этих простеньких историй, услышанных, как я уже говорил, от Галины Максимовны Горецкой.

И я их пересказал аудитории — после таких же, хатынских, — на одном из заседаний, собранном в Москве тогдашним председателем бюро по публицистике и очерку Константином Михайловичем Симоновым. (Кажется, в 1971 или в 1972 году.) Пересказал, чтобы сообщить о книге «Я из огненной деревни...», которую мы, белорусы, делаем, и одновременно узнать, делают ли что-либо похожее ленинградцы. Ведь это рядом стоит: трагедия деревень и города в современной тотальной войне. Кто-то из ленинградцев подходил, говорили об этом, обсуждали.

Но не слышно было, чтобы кто-то взялся, и когда мне пришлось (уже в 1974 году) быть у Федора Абрамова, я сделал попытку ему навязать эту работу.

«Там у меня крестьянский сундук стоит — вот кто хозяин моего времени! — пожаловался Федор Александрович. — Пока не доберусь до дна».

Но тут же сообщил, что заполняется сундук быстрее, нежели опорожняется. Каждое лето писатель сидит, живет в своей Верколе, в Пинежском районе — рядом с Пряслиными и другими героями будущих книг о судьбах русской деревни.

Только после этого я осмелился подумать, что, видимо, сам буду делать книгу о Ленинградской блокаде, подобную нашей «Огненной деревне». Конечно, в соавторстве с кем-либо из ленинградцев. <...> Ближе других ленинградцев знал Даниила Гранина, но больше заочно — по произведениям его, превосходным эссе и через короткую переписку (как раз по поводу его эссе о Пушкине и Булгарине).

Написал ему о нашей белорусской книге, о том, как вижу ленинградскую. Даниил Александрович сразу отозвался: да, все верно, но где найти время на такую работу? Время — с этой категорией бытия у Гранина отношения самые

строгие. (Не случайно он автор удивительной книги «Эта странная жизнь», в которой, при всей гранинской сдержанности, звучит гимн человеку, который за свою сознательную жизнь не потерял, не упустил из-под своего контроля ни одной минуты времени. Ни одной — в буквальном смысле.) Нужно было убеждать занятого больше, чем ты сам, человека, что эта работа — для него лично и вообще — самая важная, главная. Тем более что он вправе спросить: «Почему за такую работу должен браться писатель? Она скорее журналистская».

— Но хотите, я найду вам толковых соавторов?

И мы собрались на квартире Даниила Александровича: кроме нас — еще трое. Хозяин, как бы подчеркивая важность «исторического момента», щелкнул клавишей магнитофона, включил:

— Ну, выкладывайте, Александр Михайлович, свои идеи.

Я — все сначала: о нашей белорусской книге, которая уже частично опубликована в журналах «Октябрь» и «Неман», о том, что блокада ждет.

— А вы читали книги о блокаде? — строго и недоверчиво спросили меня. — Или хотя бы знаете, сколько их уже написано? И документальных — не десятки, сотни!

И я увидел себя со стороны — глазами тех двух ленинградских журналистов. (О третьем — особый разговор.)

Чудак (если не хуже) забежал в чужой двор, где люди с пеленок живут, и хочет, пытается хозяевам показать, где и что у них есть, зарыто, лежит, стоит...

Столько книг — и хороших — сделано, написано, а он хочет что-то заново открыть, будто нога писательская там не ступала!..

Они были по-своему правы, видимо, не сумел, не удалось мне убедить, что книга — хотя и действительно много уже написано — не будет лишь повторением или даже дополнением, а чем-то совершенно иным. И не благодаря нашей гениальности, а потому лишь, что начнем с самого простого и сделаем самое простое: дадим, позволим, нако-

нец, выговориться самой блокаде, собственным голосом выговориться, выкричаться, выплакаться...

Из троих лишь один ленинградец понял, о чем речь, но и он вынужден был отказаться:

— Я взялся бы, но ведь это такое трудоемкое дело, а на мне целое издательство!..

Когда гости ушли, хозяин, на глазах у которого я столь сокрушительно провалился со своими «идеями», видимо, пожалел меня. (Тем более что и его миссия — сосватать мне соавторов — тоже потерпела крах.)

— Ну, раз так, возьмусь я!..

Назавтра мы поехали записывать первого блокадника. 5 апреля 1975 года — это я хорошо помню. Куда-то на улицу Шелгунова, по адресу, который мне дала все она же, Галина Максимовна Горецкая. Блокадную историю ее знакомой я уже знал в пересказе и рассчитывал, во всяком случае хотел, чтобы и Даниила Александровича сразу «зацепило и потащило». Хотя и знал (по прежнему опыту), что нужно набраться терпения, и тогда из 10—12 рассказов-воспоминаний одно получите потрясающее. Но здесь мне хотелось, чтобы сразу же услышать, записать именно такое...

Чуда, к сожалению, не произошло. И действительно, лишь десятая или одиннадцатая ленинградка нам рассказала такое и так, что сразу открылся нам уровень правды, безоглядной искренности, трагизма, который «сделает книгу». Это — рассказ бывшего командира «группы самообороны», жактовского коменданта «жилых объектов» — Дмитриевой. Той самой, о которой в первой части «Блокадной книги» мы не могли не написать: «Эта бессмертная, эта вечная Мария Ивановна».

Не буду подробно рассказывать, как мы — вдвоем или каждый из нас самостоятельно — искали адреса блокадников, телефоны, ездили, ходили, знакомились, спрашивали, записывали. От человека к человеку, от квартиры на одном конце огромного города к дому, квартире — на другом. Всякое бывало. На какой-нибудь бесконечной улице Бассейной, где и дома не нашел, и того блокадника не повидал, вдруг посмотришь на самого себя со стороны —

да так ясно увидишь себя с чемоданчиком-магнитофоном в том вечернем «петербургском» тумане! — и какой-то смех дурацкий: «Зачем ты здесь? Почему именно ты? И кому это надо?»

А конца дела не видно, и будет ли какой-либо результат? Все больше нам открывалась и пугала невозможность что-то целостное выстроить из того, что у нас на магнитных лентах и что наша стенографистка-машинистка Софья Сергеевна Локшин переносила на бумагу. (Она, наша самоотверженная помощница, которая и сама прошла через блокаду, так и не увидела работу в печати — мы ее потеряли на полпути.)

Чем больше записано воспоминаний, чем больше в руках у нас дневников, тем сильнее ощущение, что мы от своей цели дальше, чем в тот апрельский день 1975 года, когда затевали работу. Воспоминания по 50 и по 100 страниц каждое — сотни таких рассказов-воспоминаний, записей, дневников — целая гора, но как с этим выйти к читателю, как сделать то, что можно взять в руки и читать. Мучительно хотелось сделать работу, чтобы освободиться быстрее, вырваться. Вот где я, кажется, был готов согласиться с ненавистным мне краснобаем Заратустрой: если ты смотришь в пропасть, то и она смотрит тебе в душу!..

А нам уже открылась пропасть — массовый голод во всей его блокадной беспощадной реальности, правде.

Я все ездил в Ленинград, квартира Даниила Александровича и Риммы Михайловны на улице Братьев Васильевых (Малая Посадская ул. — Н. А.) — наш «штаб», куда все больше нитей стягивается, сходится. Столько, что уже и запутаться можно. Хорошо, что и здесь у нас есть женские руки и аккуратность женская — Риммы Михайловны. О нашей работе уже прослышали, уже звонят, пишут нам, сами ищут нас, и тут уже не отступишься, даже если бы захотел. Он ничего так не просил, ленинградец-блокадник, не требовал, не хотел для себя — хотя нужда была в помощи, и не раз, в послевоенные годы, — как здесь вдруг провалось. Не просьба что-то дать ему, а взять, взять, взять у него — всю правду!

«Горько и обидно иногда слышать: „Ха, блокадники. Хорошо, значит, жили, если до сих пор живы. Настоящие блокадники давным-давно на Пискаревке лежат”».

И еще один деятель в юридической консультации мне сказал: «Что такое блокадники? Такого слова теперь нет. Есть словосочетание — „люди, пережившие блокаду”».

<...> Когда ухо, когда сознание настроено все время на одну волну, блокадника услышишь, разгадаешь и далеко от Ленинграда. Сколько я их нашел в поезде Минск — Ленинград, который изрядно обжил за годы с 1975-го по 1981-й.

Или вот такой случай: старая женщина-минчанка все время занята тем, что находит, собирает и кормит на улице, во дворе, бездомных котов, собак (или хотя бы голубей) — сцена не такая уж редкая или удивительная. Но неожиданные слова ее меня заставили внутренне сжаться: «Я не могу видеть голодных. Я была в Ленинграде...»

Была в блокадном Ленинграде, это на всю жизнь.

Я все ездил в Ленинград, изучил его улицы и кварталы, возможно, как редко кто из коренных жителей: не всякому ленинградцу необходимо знать, где там эта улица Солдата Корзуна или Бассейная.

Найдешь улицу, дом и, если ты один и не объяснил по телефону, спешишь сказать: «Вот мы с Граниным... Вы же Гранина знаете?..» Это — чтобы не объяснять долго, кто ты и зачем, почему здесь оказался, чтобы долго не выпрашивать доверие к себе. «Даниил Гранин... Мы с Граниным...» — срабатывало как пароль. <...>

Так что если иногда и один ходил по Ленинграду, то тоже, как видите, с Граниным.

А с материалом — чем больше его набиралось, копилось, тем больше не хватало. Слишком много — чтобы напечатать как есть, и слишком мало — чтобы нам главное открылось, самим стала ведома общая нашего произведения идея.

Чего ради, зачем мы потревожили, собираем блокадную память, кажется, знаем. Чтобы не упустить, не потерять

навсегда народную правду о трагических и героических 900 днях Ленинграда, всю правду о войне. Чтобы дать выговориться, выкричатся памяти о невыносимом блокадном голоде, о муках, потерях и героизме людей, спасавших цивилизацию от фашистского варварства. И чтобы еще раз проклясть войну — этого «железного зверя», говоря словами белорусского классика Кузьмы Чорного, от которого столько веков, тысячелетий людям покоя нет...

Все это так, но и жанр наш, как и всякое произведение, требует сверхидеи, сверхцели. Не той, которую навязывают материалу или привязывают к нему, а которая открывается в самом материале и через него, если долго всматриваться.

Мы всматривались, искали — пока действительно не открылось: а, вот мы о чем!

Это не сразу пришло. Спорили, что удерживало и удержало рядового ленинградца на такой гордой и трудной высоте солдатского и человеческого поведения? Ленинградцы умирали, но умирали с каким-то особенным достоинством, не оценит которое лишь тот, кто не прочувствовал всю меру, бездну испытаний, выпавших на их долю.

Фашистские фюреры рассчитывали, что «Ленинград выжрет самого себя» — так и кричали, и писали, потому что танкам их не удалось, но голод уже ворвался в Ленинград. А вместе с голодом и то, что, по их расчетам, должно было ленинградца превратить в безвольное, ко всему равнодушное существо. «Голод — наш союзник!» — радовались и мстительно ждали момента, когда в городе все поползет по швам, потому что не выдержит сам человек, «расползется»... <...>

Чем больше мы слушали самих ленинградцев, изучали документы, читали дневники, тем яснее нам открывалась одна из главных опор того самого «духа ленинградцев».

Что Ленинград — один из самых культурных городов в мире, кто об этом не знает. Что это город-интеллигент и по культурным традициям, и по насыщенности музеями, библиотеками, научными учреждениями, а главное — по культуре, облику самих горожан, по их взаимоотношениям

и отношению к тем, кто приезжает в Ленинград, — также давно считается общепризнанным. <...>

Все это так, и все, оказывается, имеет не только прямое, непосредственное отношение к легендарной стойкости ленинградцев во время блокады, но и может объяснить многочисленные конкретные ситуации и судьбы, с которыми мы сталкивались во время работы над «Блокадной книгой». Например, те же «подневные записки» блокадника Г. А. Князева или дневник Юры Рябинкина: как точно они документируют движение человека к состоянию, когда голод уже способен отобрать, действительно «сожрать» и силы, и волю, и совесть, и саму способность сопротивляться гибели. Физических, биологических калорий недостаточно, чтобы не умереть, а тем более остаться прежним человеком — кем ты был всегда. Но нечто все равно человека держит, поддерживает, не позволяет переступить «за черту», где распад всего, «моральная дистрофия». И это нечто — может быть, как раз и есть то, что не было учтено фашистами, хотя они все остальное (достаточно точно) подсчитали и высчитали: сколько может продержаться в лютые морозы четырехмиллионное население, если в городе нет значительных запасов продовольствия, топлива, не действует канализация, нет воды...

Ленинград блокадный о многом поведал миру: и о нечеловеческом облике фашизма, который голод избрал своим союзником, средством террора против мирного населения, и о том, что способен перенести и перед чем смог устоять народ, когда решался вопрос жизни и смерти Родины, сражающейся за человеческое будущее.

<...> Что работа разума, духа, например, спасла Г. А. Князева, а сила, работа любви помогла Лидии Охупкиной (и не одной ей) выжить и спасти детей — когда уже ничто другое помочь им не могло. Одну из глав второй части «Блокадной книги» мы сначала назвали условно «Мальчик-интеллигент». Очевидно, догадываетесь, что мы имели в виду Юру Рябинкина.

Так вот, сверхцель книги, которая необходима, чтобы был не просто памятник прошлому, пережитому, но и жи-

вой контакт с современностью — сверхидея «Блокадной книги» открылась нам и для нас сформулировалась именно в этих словах: внутренняя культура, интеллигентность — сила, а не слабость человека.

...Помню тот день... Я все приезжал в Ленинград — летом и зимой, осенью и весной, — мы уже знакомы были с сотнями жителей города, которые никогда не видели друг друга. Даниил Александрович «свел» меня, познакомил с уголками и местами города, связанными не только с жизнью Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др., но и с судьбой их героев (стоял возле него, знаю даже тот камень, под который Родион Раскольников спрятал деньги, вещи убитой им старухи). У меня уже были свои воспоминания о собственной жизни в этом городе. Но все еще не было ощущения, что город принял меня <...>

Мои к нему — Петербургу, Петрограду, Ленинграду — чувства начало берут не из дня сегодняшнего или вчерашнего, возникли они где-то на десятом году жизни — с первыми не строчками даже, а как бы аккордами Пушкина: «На берегу пустынных волн...»

И вот тот момент, когда все переменялось. (Конечно, во мне самом это произошло, но показалось, что город глянул и вдруг меня обнаружил, и я даже голос услышал — радостным эхом во мне прозвучал.) Был уже 1978 год. Мы уже напечатали первые главы «Блокадной книги», сотни писем блокадников, которых мы не разыскали, теперь через «Новый мир» разыскивали нас. Чтобы добавить что-то, свое сказать или просто добрым словом поблагодарить Даниила Александровича и его «соавтора из Белоруссии». Я снова приехал в Ленинград ранней весной, побыл на Краснопутиловской, на очередной своей квартире, и, как обычно, к метро пошел мимо памятника блокадному Ленинграду. В этот день и памятник был не такой, каким виделся прежде, вдруг как бы заколыхалось, ожило в весеннем воздухе: нереально вытянутые тонкие фигуры женщин, солдат, рабочих, детей — будто сквозь колеблющееся сознание не твое, а блокадника... Доехал до Невского и вдоль наприя-

женно изогнутой Мойки, а потом через горбатый мостик возле дома Пушкина вышел к Зимнему — Эрмитажу, через Дворцовый мост перешел на другой берег Невы, где университет, Архив Академии наук — отсюда начал считать шаги. Какое приблизительно расстояние от Архива до дома, обвешенного черными мемориальными досками, в котором жил, куда и откуда ездил на своем инвалидном «самокате» Георгий Алексеевич Князев?..

У нас был уже его дневник, и мы уже начинали работу над второй частью «Блокадной книги». А вот и сфинксы над самой Невой, которые в дневнике директора академического архива все более оживают, делаются едва ли не главными его собеседниками — по мере того как жизнь вокруг не просто замирает, а вымирает. За широкой Невой огромный купол Сената. Князеву отсюда, из-под коротких дорических колонн его дома, после обстрела показалось, что это расколотый череп!..

Когда я возвращался по Дворцовому мосту, солнце уже было над Финским заливом и, как положено в Ленинграде, — садилось в тучи, на непогоду. Из-за разорванных, с синью и краснотой по краям, облаков вырвались последние лучи и залили растопленным стеклом, зажгли окна вдоль всего берега реки. Людей возле Эрмитажа непривычно мало, мост пустынен, хотя еще и не вечер. Вот здесь я и услышал (или ощутил) тот миг... И понял, что не чужой в этом городе. Не совсем чужой ему. Будто глянул он в мою сторону и даже сказал: «Ну что ж, если так...» <...>

Даниил Гранин

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
«БЛОКАДНОЙ КНИГИ»

Боевое охранение наше стояло рядом с немцами. Было слышно, как они разговаривают, как звякает немецкая посуда. И, когда снайпер попадал в кого-нибудь, — крик, ругань.

С утра над нами проносились немецкие эскадрильи, шли бомбардировщики бомбить город. Мы видели, как там поднимались столбы дыма. Пожары длились долго, и можно было гадать, где примерно что горит. ...Под вечер — вторая бомбежка. А между ними — с мягким шелестом проносились снаряды дальнобойной артиллерии. Мы ничему не могли помешать. Зениток у нас не было. Вначале пробовали стрелять из винтовок, но это, конечно, ничего не давало.

Город за нами страдал. Мы видели, как его уничтожали, обстреливали, и плохо представляли, что творится в самом городе. Вскоре и мы на собственной шкуре почувствовали голод. И у нас начались отечность, дистрофия. Ходили по ночам на «нейтралку», на картофельные и капустные поля, искали картошку, хоть подгнившую, капустные листья.

За время блокады я в городе был раза два или три всего. Один раз нес пакет куда-то, проходил село Рыбацкое и видел, как лошадь, которая тащила сани с патронными ящиками, молоденький красноармеец погонял ее, упала на подъеме и встать не смогла. Как он ее ни лупил, ни бил — она дрыгала ногами и подняться не могла. А тут вдруг откуда ни возьмись налетели люди, закутанные во что попало,

с топорами, ножами, принялись кромсать лошадь, вырезать куски из нее. Буквально через минут двадцать остались только кости. Все обглодали.

Запомнилось и то, какой был город. Занесенный снегом, высокие сугробы, тропинки между ними — это улицы. Только по центральным улицам можно было ехать на машине. Лежали трупы, не так много. Лежали больше в подъездах. Город был засыпан чистым-чистым снегом. Безмолвный, только тикал метроном из больших репродукторов, которые были повсюду. Витрины все заколочены. Памятник Петру, памятник Екатерине завалены мешками с песком. Никто из нас не стремился в этот блокадный город.

Жизнь блокадная шла среди разбомбленных домов. Угол Моховой и Пестеля, дом стоял словно бы разрезанный. Бесстыдно раскрылись внутренности квартир, где-то на четвертом этаже у платяного шкафа дверца болталась, хлопала на ветру. Оттуда выдувались платья, костюмы. Разбомбленные дома дымили. Пожары после бомбежек или снарядов продолжались неделями. Иногда возле них прохожие грелись. Гостиный Двор был черный от пожара. В Александровском саду траншеи, зенитки. Траншеи были и на Марсовом поле.

Однажды нам поручили втроем вести пленного немца через город в штаб. Я наблюдал не столько за городом, сколько за немцем, которого вел, — какой ужас был на его лице, когда мы встречали прохожих, замотанных в какие-то немислимые платки, шарфы, лица, черные от копоти. Не поймешь — мужчина, женщина, старый, молодой. Как тени, они брели по городу. Началась тревога, завывли сирены, мы продолжали вести этого немца. Встречали безразличие на лицах прохожих, которые смотрели на него. Он-то ужаснулся, а они уже без всяких чувств шли мимо человека в немецкой шинели.

Два раза к нам на передовую приезжали концертные бригады из Радиокomiteта. Артистов мы угощали пшенной кашей, поили водкой. Мы видели, как они ели, как откладывали в пластмассовые коробочки кашу. У них был другой голод, чем наш, окопный, которого тоже хватало, что-

бы отправлять время от времени в госпиталь дистрофиков и опухших.

Я считал, что знаю, что такое блокада. Когда ко мне в семьдесят четвертом году приехал Алесь Адамович и предложил писать книгу о блокаде, записывать рассказы блокадников — я отказался. Считал, что про блокаду все известно. Видел фильм «Балтийское небо», читал какие-то рассказы, книги, стихи. Ну что такое блокада? Ну, голод; ну, обстрел; ну, бомбежка; ну, разрушенные дома. Все это известно, ничего нового для себя я не представлял. Он долго меня уговаривал. Несколько дней шли эти переговоры. Наконец, поскольку у нас были давние, дружеские отношения, он уговорил хотя бы поехать послушать рассказ его знакомой блокадницы.

Мы даже, по-моему, не записывали, или записали потом, по памяти... Ей было восемнадцать лет... у нее был роман. Любила Федю, своего жениха. Федю взяли в армию, и стояла его часть тоже где-то в районе Шушар. Каким-то образом пробиралась к нему. Носила сухари, варенье, носила домашние вещи: рукавички, шарф. Но главное — как она пробиралась туда. Я знал: заставы наши, патрули не пропускали штатских, гражданских, это строго-настрого было запрещено. Перебежчики могли быть, могли быть шпионы, осведомители. Тем не менее она несколько раз побывала у него, шла шестнадцать километров, добиралась до их части, упрашивала, умаливала эти патрули. И ее пускали. То был удивительный пример любви. Любовь, которая, попав в блокаду, старалась выжить. Ее рассказ меня и тронул, и удивил.

Кроме этого, Адамович уговорил еще к одной блокаднице пожаловать. Короче, я увидел, что существовала во время блокады не известная мне внутрисемейная и внутридушевная жизнь людей, она состояла из подробностей, деталей, трогательных и невероятных. В конце концов я дал согласие.

Мне все это было странно, поскольку никогда не работал вдвоем, и еще — Адамович не ленинградец. Он белорус. Прошел войну совсем не такую, как я. Партизанскую,

в этом заключалась разница наших представлений о войне, о фронте. Но, как потом выяснилось, это имело и свои преимущества. Его наивный и совершенно свежий взгляд на Ленинград, на ленинградскую жизнь, вообще на жизнь большого города, помогал ему увидеть то, что для меня давно стерлось.

Так мы начали вместе работать. Блокадники передавали нас друг другу. Тогда блокадников было много. Это были семидесятые годы; середина — конец семидесятых годов. Мы ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, выслушивали, записывали на магнитофон рассказы. Сперва мы ходили вместе, потом разделились, чтобы охватить больше людей. Почему нам было нужно больше людей? Да потому, что оказалось, у каждого есть свой рассказ. У каждого оказалась своя трагедия, своя драма, своя история, свои смерти. Люди и голодали по-разному, и умирали по-разному... Мы набрали сто рассказов, и ничего не повторилось. Посмотрели эти сто рассказов и поняли, что у нас есть какие-то пробелы. Тогда мы начали писать порознь.

Как шла работа. Тоже интересно. Приходили мы — а блокадники, большей частью, не хотели ничего рассказывать. Не хотели возвращаться в ту зиму, в те блокадные годы, в голод, в загаженную квартиру, в свое первобытное состояние. Ни за что!.. Потом соглашались. Как правило, не было ни одного случая, чтобы нам отказали наотрез. Иногда мы уходили, а они потом звонили нам и приглашали. Мы не сразу поняли, в чем тут дело.

У людей скопилась потребность рассказать, чтобы освободиться. Женщина пыталась некогда рассказать об этом своим детям, соседям, внукам, родным, — ее не слушали. Не хотели слушать. Когда приходили мы, писатели, с магнитофоном и она начинала рассказ, они собирались вокруг и слушали совершенно по-новому: как мы, как посторонние люди. Часто — слышали впервые о том, что происходило в этой квартире, что происходило с матерью, что происходило в этой семье. Рыдали, плакали.

Такие рассказы — если переводить их с пленки на бумагу, занимали двадцать-тридцать страниц.

Для расшифровки нужны были стенографистки. Особые стенографистки, потому что нам важно было не просто содержание, надо было сохранить оттенки устной речи. Таких стенографисток почти уже не осталось в городе. Но мы нашли. Двух блокадниц: Нину Ильиничну и Софью, забыл ее отчество, к сожалению. Обе были блокадницы. Когда они послушали несколько кассет, заявили, что будут бесплатно все делать. Мы не могли пойти на это, потому что это была — адская работа. Приходилось каждую кассету прогонять несколько раз, чтобы уловить все оттенки устной речи, все эти «э», «мм», вычистить мусорные словечки. Обе работали самоотверженно. Если б не они, у нас книга получилась бы беднее. Они помогли нам сохранить прелесть, естественную корявость рассказов. И получались личностные рассказы, а не просто стенографическая запись.

Многое решал талант рассказчика. Лучше всего рассказывали женщины. Женская память устроена несколько иначе, чем мужская. Ведь мужская память — она глобальна: мужчин общие ситуации больше интересуют. А подробности быта, бытия, что творилось на малом участке: очередь, булочная, квартира, соседи, лестница, кладбище, — это память... женская. Она была более красочная и крепкая. Примерно из десяти рассказов один, как правило, гениальный; два-три рассказа — талантливых, очень интересных. Но даже из невнятных, косноязычных рассказов все равно всплывали детали и подробности впечатляющие.

Конечно, прошло тридцать лет. С сорок пятого, допустим, по семьдесят пятый год. Память была засорена стереотипами кинофильмов, телевизионных передач, прочитанных книг. Все это приходилось отсеивать и добираться до личного. Личное было неповторимо.

Мы набрали двести рассказов. Двести — это примерно четыре тысячи страниц, решили на этом кончить, иначе захлебнемся в материале. Но это была четверть работы, сразу возник вопрос: что же это будет за книга? Это ж не коллаж, не просто сборник воспоминаний. Это должна быть книга, где есть сюжет, есть развитие этого сюжета, где есть какая-то наша сверхзадача. О чем? Для чего? Для кого?

Собственно говоря, с половины работы мы поняли, что напечатать эту книгу будет почти невозможно. Существовал к тому времени устоявшийся, окаменелый стереотип идеологии блокады. Блокада — героическая эпопея. Она воплощение подвига ленинградцев, которые не сдали город. Девятьсот дней блокады. Единственный город в истории Второй мировой войны, в истории нашей Великой Отечественной войны, который выдержал осаду. На Нюрнбергском процессе было зафиксировано, что погибли шестьсот шестьдесят тысяч горожан. Мы вскоре поняли, что эта цифра преуменьшена значительно. А главное — что дело не в героизме. В конце концов, для многих это был вынужденный героизм. Героизм заключался в другом. Это был героизм внутрисемейный, внутриквартирный, где люди страдали, погибали, проклинали; где совершались невероятные поступки, вызванные голодом, морозами, обстрелом.

Это была эпопея страданий человеческих. Это была история не девятист дней подвига, а девятист дней невыносимых мучений. Что, конечно, не соответствовало пафосу героизма, того, что прочно вошел в историю Великой Отечественной войны. Тем не менее мы продолжали работу.

О чем же эта книга? Мы решили, что эта книга, во-первых, — об интеллигенции и об интеллигентности. Ленинград — город, который отличался высокой культурой, интеллектом, интеллигенцией своей, духовной жизнью. Мы хотели показать, как люди, которые были воспитаны этой культурой, смогли оставаться людьми, выстоять.

Второе, что мы хотели, — показать пределы человека, пределы его страданий. Мы сами не представляли себе возможностей человека. Человека, который не просто отстаивает свою жизнь, люди эти чувствовали себя участком фронта. Люди понимали, что до тех пор, пока город живой, он может отстаивать себя.

Мы хотели рассказать о том, что такое духовная пища. В общем, постепенно сформировались какие-то темы, которые мы обязательно хотели на собранном материале раскрыть. Просто открыть людям. Мы увидели, что этот

материал — уникальный, совершенно особый, нигде в литературе не освещенный. Потому что одно дело — концентрационные лагеря, голод на Украине, голод в Молдавии, другое — блокада. Здесь ужас войны, который настигает мирных людей. Ужас фашизма. Город должен был вымереть по плану немецкого командования. Это была тоже единственная в истории мировых войн операция.

Так начала складываться эта книга. Мы ее писали, не позволяя себе печатать отрывков.

Не то чтобы мы писали ее втайне, но мы никак не оповещали о ней, чтобы не осложнить издание. Эта книга не годилась для того, чтобы ее писать «в стол». Мы застали уже последнюю возможность создания этой книги. Потому что блокадники уходили из жизни. Мы увидели, в каких ужасных условиях они жили. Так сложилось, что этим людям, которые столько перетерпели, — именно им хуже всех досталось после войны. Они остались в тех же самых жилищных условиях. Надо было вербовать строителей, восстанавливать город. Им давали в первую очередь жилье. Блокадники жили ужасно, и мы хотели хотя бы этой книгой помочь восстановить уважение к ним и понимание того, что они заслуживают большего внимания и льгот.

Поскольку вместе мы писать не привыкли, Адамович писал — присылал мне. Я все перечеркивал и писал ему, что написано отвратительно и никуда не годится. Присылал ему свой вариант, он тоже говорил: плохо, куда это? Что это? Кому это? Совсем не то, что мы хотели. И вот так, с руганью, с раздиранием этих рукописей, с выбрасыванием, ссорами... постепенно начали продвигаться к окончательному варианту. Эта работа продолжалась долго — года три, может, и больше. Не помню точно, потому что он в это время своими делами занимался, я тоже свое писал. Тем не менее книга постепенно нас захватывала все больше, и в конце концов мы полностью включились в эту работу.

Когда кончили первую часть, мы попытались напечатать ее в ленинградских журналах. Нам сразу же вернули ее. Даже и объяснять не стали. Мы поняли, что в Ленинграде напечатать это невозможно. Ни одно издательство не

брало: «идеологически вредно». Поехали в Москву, решили обратиться в лучший журнал того времени, да и сейчас он, возможно, остается одним из лучших — в «Новый мир». Нам помогло то, что главный редактор Сергей Наровчатов — был фронтовик и воевал на Ленинградском фронте. Диана Тевекелян ведала прозой. Они прочли и решили взять это, прекрасно понимая, как трудно будет. Действительно, номер с первой частью попал в цензуру, цензура сразу попросила всю рукопись и выдала нам шестьдесят пять изъятий, замечаний, требований. Были некоторые, абсурдные на наш взгляд, требования. Что не устраивало цензуру? Во-первых, малейшее упоминание о людоедстве. О мародерстве. О каких-то злоупотреблениях с карточками. О том, что в голоде был отчасти виновен... виновны власти. О Жданове наши нелицеприятные высказывания. Ну, было, например, такое, о чем сразу донесли Сулову. Баня. Где-то в феврале в Питере открылась первая баня. По-моему, на Мытнинской. И по этому поводу было несколько рассказов людей, которые попали в баню. Топлива не было, и топили только одно отделение, где мылись мужчины и женщины вместе. Но это были не мужчины и не женщины. Это были просто скелеты, которые помогали друг другу, потому что поднять шайку с водой не могли. Об этом было запрещено категорически упоминать как о порнографии. Хотя то был пример целомудренных отношений людей, блокадников... Ну, вот такого рода замечания.

Надо сказать, что с помощью «Нового мира», Дианы Тевекелян, Сергея Наровчатова мы кое-что отстояли, но частично — пришлось смириться.

Книга эта вышла и вызвала, с одной стороны — возмущение историков партийных, они считали, что мы «разрушаем героический образ Ленинградской эпопеи». С другой стороны — последовали сотни и сотни писем блокадников, которые посылали свои рассказы, чтобы дополнить, некоторые требовали от нас большей правды, говорили о том, что мы приукрашиваем, были вещи куда страшнее, и так далее.

Книга эта была для нас цепью открытий. Мы увидели, что люди во время блокады относились друг к другу гораздо

более сердечно, гуманно и милосердно, чем тогда, в конце семидесятых годов. Что ныне происходит процесс дегуманизации людей, очерствения, бессердечия; блокада в этом смысле пример того, как в тех страшных условиях люди не позволяли себе эгоизма, который и в семидесятые, и вплоть до нынешнего времени позволяют себе.

Главным редактором издательства «Советский писатель», Ленинградского отделения, был Кондрашов Георгий Филимонович — бывший секретарь горкома партии. Городское секретарство вошло ему в плоть и кровь. Когда он получил нашу рукопись, то немедленно понес ее в обком партии. Два писателя именитых; так просто от них отказаться и запретить невозможно, нужны были какие-то ссылки, обоснование. Не знаю точно, но думаю, что эту рукопись или доклад об этой рукописи передали вплоть до первого секретаря обкома. И оттуда пришло следующее: «Вы развенчиваете подвиг Ленинграда; ваше дело — не страдания людей, а их мужество и стойкость, а вы смакуете ужасы». Таким образом, эта как бы резолюция обкома партии стала известной, конечно, дальше никакой речи об издании в Ленинграде уже и быть не могло.

Но мы к такому были готовы и пошли к Н. Лесючевскому — директору издательства «Советский писатель» в Москве, считая, что в этом смысле Москва более либеральная и свободная, чем наш Питер. Однако Лесючевскому уже доложили, что Ленинград категорически против этого издания. У нас были тяжелые разговоры с Лесючевским. Он сам — бывший ленинградец, блокадник — втайне, может, нам и сочувствовал. Но и он тоже нам отказал. Вот тогда уже началась битва. Когда напечатали в журнале первую, а затем и вторую часть, когда посыпались сотни писем, когда появились положительные рецензии в московских газетах... Вышла книга уже вторым изданием, третьим изданием, ни в одной ленинградской газете не было ни разу рецензии на нее. Вот что значила тогда диктатура обкома партии. Эта книга была, видимо, воспринята как подрывная работа по отношению к фильму «Блокада» по роману А. Чаковского. Вообще, книга Чаковского была принята как образец.

«Так мы будем преподносить блокаду. Так мы ее переведем на экран. Так она соответствует нашему пониманию того, что было здесь девятьсот дней. И никаких отступлений от этого не будет! А ваша работа — подрывная по отношению к фильму, который преподносился в союзе со всеми идеологическими организациями».

А мы посреди работы заболели.

Когда работали, мы друг друга поддерживали уверенностью в том, что никаких запретных вещей для литературы не существует. И нас «поддерживали» в этом смысле Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский и другие собратья и коллеги. Нет ничего запретного в литературе! Обо всем можно рассказать!

Так-то так, но мы столкнулись со столь страшными рассказами, — даже сегодня, сейчас не все можно рассказать. Мы, конечно, записывали, но это было невыносимо. И эту невыносимость, этот натурализм жизни блокадной оказалось преподносить читателю невозможно, есть какие-то пределы и в литературе.

Например, как один летчик, которого подбили, вернулся в свою семью уже инвалидом... как он страдал от голода и как собирал... вшей с себя и с детей. Сбирал вшей и ел их. Геройский летчик. При голоде люди теряли человеческий облик.

Наслушавшись этих рассказов, этих рыданий, истерик и слез, заболел Алесь Адамович. Он слег здесь, в больнице, в Ленинграде, нервная болезнь. Потом слег я. Потому что одно дело — один рассказ послушать, а если за ним — другой, третий, десятый, и все это воспринимать... невыносимо.

Почему Алесь выбрал меня? В Москве мы иногда встречались на каких-то писательских форумах. Тогда очень явно шло расслоение людей: это наши, это — не наши. Это свои люди, это — не свои. Ну, свои хотя бы потому, что фронтовики, а еще потому свои, что были авторами «Нового мира». Свои и оттого, что придерживались одних и тех же взглядов. Однажды мне позвонили из «Нового мира» и попросили написать рецензию на его повесть. По-моему,

это была его лучшая книга — «Хатынская повесть». И я написал большую рецензию. С тех пор у нас дружба очно-заочная повелась. Когда он позвонил из Минска и сказал, что хочет приехать повидаться со мной, я ответил: приезжай, конечно. Он хитрый был человек. Сельская хитрость в нем была. Приехал и начал меня уговаривать.

Откуда у него вообще возникла идея такой книги? Она у него возникла из предыдущей работы, которая называлась «Я из огненной деревни...», ее он писал вместе с белорусскими писателями — Янкой Брылем и Владимиром Колесником. Они опрашивали людей, которые во время войны в Белоруссии спаслись из истребленных деревень, сумели сбежать, записали их рассказы. Это тоже тяжелые, страшные рассказы. Книга имела успех в Белоруссии, была переведена на русский язык и за границей. Эта работа воодушевила Алеся. И ему пришло в голову: давай сделаем то же самое на ленинградском блокадном материале.

Глава «Ленинградское дело» предназначалась для «Блокадной книги». Вставить ее в первое издание нам с Алесем Адамовичем не удалось. Издатели, цензура отвергали все наши попытки. Между тем без этой главы многое в судьбе послевоенного города, в судьбе блокадников, да и в истории блокады, было непонятно. «Ленинградское дело» до сих пор остается одной из самых загадочных страниц послевоенной жизни страны. Документы, связанные с этим делом, были уничтожены, очевидно, сразу после смерти Сталина, лично Берией и Маленковым. Версии историков так или иначе сводятся к борьбе за власть: группа Берия — Маленков хотела убрать Вознесенского и Кузнецова как конкурентов, поскольку Сталин однажды назвал Вознесенского своим преемником. Кузнецова Берия опасался — Кузнецову поручено было курировать работу НКВД, вряд ли это устраивало других членов Политбюро. Раздражало влияние ленинградской группы. На фоне тогдашнего Политбюро они отличались образованием, культурой и обрели славу спасителей города. История партии знает немало процессов над всякого рода оппозициями. Особенность «Ленинградского дела» в том, что репрессиям подвергали людей, безуслов-

но преданных лично Сталину, партии, опытных руководителей, проверенных войной, блокадой. Уничтожили всю ленинградскую верхушку, снимали слой за слоем. Я работал тогда в Ленэнерго. У нас управляющим Ленэнерго был Борис Страупе. В условиях блокады он сумел обеспечить энергией оборонные заводы, Смольный. Он тоже исчез. Погиб начальник кабельной сети города М. Грознов. За что, почему — никто не пояснял. Исчезали один за другим, их даже не называли, как прежде, «врагами народа», просто участники «Ленинградского дела». Говорили — за связь, за знакомство с Попковым, с Капустиным, то есть с секретарями горкома, обкома. Нелепые формулировки не позволяли обсуждать. Неизвестно, сколько людей поглотили это дело, сколько было арестовано, сколько погибло в лагерях. Машина уничтожения никак не могла остановиться. Работала она бестолково, но ожесточенно. Казалось, расправляются с городом, с Ленинградом, давно уже, со времен зиновьевской оппозиции, ненавистной Сталину. Среди обвинений ленинградским руководителям существовало одно, затаенное, публично не высказанное: «противопоставляется геройство ленинградское столичному, московскому». После войны много разговоров было о том, как вело себя в критические дни московское начальство, про панику в октябре 1941 года, сравнивали с ленинградскими начальниками. Слава города-героя на Неве подняла репутацию Попкова, Кузнецова и прочих. Их заслуги, воздаваемый им почет раздражали членов Политбюро, вроде бы накладывали тень на руководство партии. Одно дело — военачальники, полководцы, и совсем другое — гражданские, партийные деятели. Забирают себе какую-то часть славы вождя. Вождь есть один, и члены Политбюро, которые все равны, а за ними следуют остальные функционеры. Иерархия соблюдалась жестко. Конечно, ни Попков, ни Кузнецов, ни другие ленинградцы сами не претендовали на отдельную славу, их вознесло народное мнение, оно сравнивало и отдавало им предпочтение!

Одним из тех, кого я записывал, собирая материалы для «Блокадной книги», был А. Н. Косыгин — председатель

Совета Министров. Во время блокады он был отправлен Сталиным в Ленинград уполномоченным Государственного Комитета Обороны. Историю довольно занятную, даже драматичную, нашего свидания с ним я описал в рассказе «Запретная глава». Она не вошла в «Блокадную книгу»: цензура не допустила. Позже я опубликовал ее отдельно. Был в нашем разговоре с ним один момент, который я не осмыслил. Возможно, если бы мы были у Косыгина с А. Адамовичем, моим соавтором, смысл этого эпизода мы бы со-обща выявили... К сожалению, Косыгин согласился принять меня одного. И только нынче, перечитывая записи нашего разговора, я обратил внимание на то, как Косыгин вроде бы случайно вспомнил октябрьские дни 1941 года, когда немецкая армия вплотную приблизилась к Москве. Правительство переехало в Куйбышев. Сталин был в Москве. Но кремлевские кабинеты опустели. Повсюду звонили телефоны, Косыгин переходил из кабинета в кабинет, брал трубку, отвечал, чтобы показать — Кремль работает. Это было 16 октября. В его рассказе о блокаде эта история показалась мне случайным отклонением. Но Косыгин был достаточно искусственным политиком, думается, он хотел таким образом подвести к сравнению обоих городов в критические моменты войны. Сравнение было не в пользу Москвы, и поскольку это в те годы широко обсуждалось, следовало, очевидно, сбить гонор с ленинградцев. Об этих скрытых мотивах «Ленинградского дела», очевидно, и хотел напомнить Косыгин, вряд ли об этом эпизоде он завел речь случайно. Ни «Ленинградское дело», ни последующая жизнь народа не вызывали никаких мотивов протеста, не было ни оппозиции, ни противостояния, ни критики сталинского режима, большевистской идеологии, ни последующих режимов коммунистических правителей. Вполне послушный, благонамеренный город. В этом отношении столица отличалась куда большим свободолобием. Ленинградские художники вынуждены были искать защиты от местных ревнителей порядка в Москве, в том же ЦК уже понимали всю абсурдность стараний питерских угодников.

Не знаю, читал ли Романов «Блокадную книгу». Он в то

время был первым секретарем Ленинградского обкома партии. Нынче приходится пояснять, кто такой Романов, да и остальные члены Политбюро. Насколько я знаю, Романову доложили о том, что написано в «Блокадной книге». О том, какие ужасы голода, какие муки терпели горожане. Романов возмутился: зачем, для чего, что они делают, эти авторы? Авторы покушаются на героизм, на стойкость, на значение подвига ленинградцев. Такая книга нам не нужна.

Впервые в Ленинграде «Блокадная книга» была напечатана в 1984 году, уже после того, как Романов был переведен на работу в Москву.

Искательство, перестраховка стали «Ленинградским синдромом». Город был изуродован страхом. И все же в сокровенных своих глубинах он хранил память о блокадном свободомыслии, он должен был возродиться, вернуться к своему европейскому предназначению, которое определили ему два великих россиянина — Петр и Пушкин.

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ
ДАНИИЛ ГРАНИН

БЛОКАДНАЯ КНИГА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТОЛЬКО МЫ САМИ ЗНАЕМ...

У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто с множеством дверных звонков — надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшая вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она взглянет на вас женскими или не женскими, но обязательно немолодыми и обязательно взволнованно-оценивающими глазами («Кто?.. Почему?.. Зачем им это?»). Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательное: «Сколько лет прошло... Забывается все...»

Ленинградские дома, квартиры блокадников...

Вообразите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы все в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке (старинном, лепном), осколков стекла на глянце пианино. Пятно-ожог от «буржуйки» на блестящем паркете...

«А здесь паркет испорчен — это мой муж в последнее время колот мебель. Пока он не умер на этом вот диване. Вот здесь...» (*Ден Александра Борисовна*)¹.

«Вот если посмотреть из окон, такой обзор у нас... Ипподром. Чуть налево, если высунуться из любого окна, — Обуховская больница, а вправо — газовый завод. В ту сторону нам можно было смотреть на Бадаевские склады...» (*Пенкина Нина Вячеславовна*).

¹ Здесь и далее примечания авторов.

«Мы встречали 42-й Новый год вот в этой комнате, уже совершенно замороженной. На этом месте стояла „буржуйка“. Вывод трубы от нас был вот в тот вентилятор. Видите желтое пятно? Его ничем не замазать, потому что здесь „буржуйка“ стояла...» (*Усова Лидия Сергеевна*).

Лидия Сергеевна и сейчас хранит черные занавески, за которыми прятала от самолетов свет своей коптилки. Говорит, не веря сама, но говорит: «Уничтожу их — война начнется!»

Бабиц Майя Яновна вспоминает и показывает:

«В блокаду мы остались с мамой вдвоем. В нашей квартире собрались ее приятельницы, и сверху пришли. И в этой квартире, в одной комнате, которая была дальше всего от улицы, в глубине квартиры, все и сгрудились. Стекла были выбиты, и одно окно закрыли вот этим ковром, турецкий ковер ручной работы. Потом матрац прислонили к одному окну... Осколки снарядов залетали в окна, застревали в стенах...»

...Тут его, ленинградца, обстреливали, обрушивали на него смерть — снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь столько близких, соседей, здоровье потерял. А сейчас (здесь же!) живет, как все. Как все, только со всех сторон окружен памятью...

И в нем самом она, та память о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже надо помнить, а если спрашивают — рассказать...

«Столько лет прошло, забывается все...»

Но ничто не забыто — эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат и как уверенность, и как надежда, просьба. Да, не забыто — разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел, имел право?! Да, все это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали, они переносили ее изо дня в день, сохраняя человеческое достоинство. Но мы, мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые, — имеем ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас они, ленинградцы?!

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что время все быстрее уносит свидетелей, участников, тех, кто был, кто знал, кто видел...

Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами «Ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие войну — один в белорусских партизанах, другой на Ленинградском фронте, — казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят...

Понять и унести безжалостную быль «ленинградской памяти» легче, если видишь этих людей — самих рассказчиков, а не только слышишь их голоса (с магнитофона) или читаешь их воспоминания.

Многое в этих людях удивительно и неожиданно. Но потом все оказывается таким простым, понятным, таким человеческим... и еще более поразительным.

Например поражает и бесконечно трогает — сколько их, бывших блокадников, писали и пишут... стихи. Не просто и не только дневники, воспоминания, но и стихи. Едва ли не каждый десятый. (Даже тогда писали. Например в 1943-м женщина посылает письма-стихи на Большую землю, а ей отвечает, тоже стихами, эвакуированная ленинградка-племянница...) Что это — влияние самого города с его несравненной поэтической культурой? Или же слишком врезалось в сознание ленинградца, как оно было: голод, блокада и стихи (об этом же) — и все рядом? Он их слышал, слушал по радио, жадно, как никогда до этого, — стихи Ольги Берггольц (да и не только ее).

Можно было бы и не придавать особого значения «непрофессиональному» увлечению стихами взрослых людей, если бы за этим не виделось большее, главное: сквозь годы многое в блокаде светится поэтически, проступает романтика общего подвига. Нет, не в том смысле, что ленинградец опускает в своих воспоминаниях холод, голод, трупный ужас тех дней и ночей. Все это живет в нем как крик боли до сих пор. Но во всем и надо всем — понимание почти

каждым (поразительно!), что это были исторические дни¹ и ночи, сознание, что Ленинград — единственный город, который устоял перед самой длительной блокадой, что образ города этого помог миру, человечеству остановиться на краю страшной пропасти. Отрезанный, блокированный город был, и это надо понять, силен своим одиночеством, к нему были устремлены внимание, любовь, вера всей страны. Неслышанные жертвы, невысказанные испытания, о которых рассказывает блокадник, просветлены чувством гордости, поэтическим чувством: зато Ленинград устоял! Мы выстояли! Жизнь продолжается!

...Вот так настал,
одетый в кровь и лед,
сорок второй, необоримый год.
О, год ожесточенья и упорства!
Лишь насмерть,
насмерть всюду встали мы.
Год Ленинграда,
год его зимы,
год Сталинградского
единоборства.
...В те дни отхлынул быт.
И смело
в права свои вступило бытие...

Ольга Берггольц

Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски, ленинградской надежды, ожидания («Когда, когда же наконец?!»), чтобы поэтически увидеть прорыв блокады, тридцать лет сохранять образ и чувство и вот так рассказать:

«Демобилизовали, и я работала уже с 9 января 1944 года на трамвае, он ходил по Невскому. И вот первый день снятия блокады. Начали военные корабли стрелять. Это такое было зрелище, что я никогда не забуду. Красивое и страшное. Как будто с Невы вся вода, огненно-красная,

¹ Здесь и далее разрядка, а также примечания — авторов.

поднимается и летит через наши головы, а потом сильный грохот...» (*Петрова Анна Алексеевна*, ул. Бассейная, 74, корп. 1).

О блокаде Ленинграда, о героических защитниках невосской твердыни, о «наемном убийце» фашистов — блокадном голоде существует обширная документальная литература.

Немало душ, сердец во всем мире потряс зимний дневничок маленькой Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 янв...», «Дядя Алеша 10 мая...», «Мама 13 мая в 7.30 утра...», «Умерли все. Осталась одна Таня».

В драгоценно-подробных дневниках писателя Павла Лукницкого «Ленинград действует» и в записках, дневниках (опубликованных) других свидетелей и участников героической Ленинградской эпопеи есть много нестареющей правды, нужной людям.

За послевоенные годы выпущены, особенно в Ленинграде, сборники воспоминаний участников героической обороны Ленинграда и прорыва блокады — генералов, полководцев, рядовых солдат Ленинградского фронта. Изданы воспоминания партийных и советских работников, которые сумели в условиях блокады наладить жизнь осажденного города, поддерживать стойкость в людях, осуществить Дорогу жизни. Есть воспоминания юных защитников города — школьников, юнг, воспоминания тех, кто создавал в блокированном городе овощную базу, заготавливал лес, торф... Книга об ученых Ленинградской блокады, артистах, художниках, врачах, учителях.

Созданы очерки, повести, романы, начиная от «Балтийского неба» Н. Чуковского, «В осаде» В. Кетлинской, книг О. Берггольц, Н. Тихонова, В. Инбер, Вс. Вишневского, А. Фадеева... Все они честно, талантливо, страстно изображали увиденное, пережитое, опыт самих авторов и их героев. Многотомная «Блокада» А. Чаковского вобрала в себя и документы, и факты, передающие мужество великого города. И то, как связана была история Ленинградской блокады с историей всей Великой Отечественной войны.

Что еще можно поведать людям, миру обо всем этом? И нужно ли это ему, сегодняшнему миру?

Мы хотели дополнить картину свидетельствами людей о том, как они жили во время блокады. Записать живые голоса участников блокады, их рассказы о себе, о близких, о товарищах. Обыкновенные ленинградцы, работавшие и неработавшие, холостые и семейные, мастера, рабочие, дети, инженеры, медсестры, — впрочем, дело не в специальностях и должностях. Мы ограничивали себя, свой интерес к профессиям, к службам, потому что не в силах охватить разные стороны жизни огромного города, показать все разделы. Нас интересовало прежде всего пережитое. Мы хотели записать, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствовано, изведено душами людей, не вообще людей, а конкретных людей с именами и адресами, старых и молодых, сильных и слабых, тех, кого спасали, и тех, кто спасал... Оказалось, что быт и бытие сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом — все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для измученного, ослабевшего человека...

Откуда брались силы, откуда возникала стойкость, где пребывали истоки душевной крепости?

Перед нами стали открываться не менее мучительные проблемы и нравственного порядка. Иные мерки возникали для понятия доброты, подвига, жестокости, любви. Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных, сослуживцев.

В рассказах людей вставляли те сложные моральные задачи, которые приходилось решать каждому человеку. Мы увидели необычайные примеры крепости духа, примеры благородства, красоты, исполнения долга, но и — неслыханных страданий, мучительных лишений, смертей...

Не всегда было ясно — пришло ли время для этих рассказов такой жестокой беспощадности? А с другой стороны — не ушло ли, не упущено ли время и возможность рассказать об этом так, как это было вживе и въяве, так, как это помнят лишь сами ленинградцы?..

В морозные дни обстрелов, голодных галлюцинаций уз-

наваемый всеми радиоголос Ольги Берггольц говорил ленинградцам и от их имени:

«Только мы сами знаем, какого отдыха мы все заслужили»; «И Ленинград щадил ее (Родину), мы долго ничего не говорили о боли, которую испытывали, скрывали от нее свое изнеможение, преуменьшали свои пытки...»; «Они девятьсот дней осаждали Ленинград, подвергая его таким пыткам, о которых до сих пор не расскажешь...».

Это говорилось в 1942-м, в 1943-м, в 1945-м.

Да, ленинградец блокаду переносил изо дня в день с трагической стойкостью, достоинством. С тем же достоинством долгие годы удерживал, сохранял в себе обжигающую правду о пережитом.

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что «пришло время», «люди хотят знать», «людям надо...».

Будоража их все еще воспаленную болью и утратами души, мы не раз спрашивали себя: а надо ли, а имеем ли право? Ответом служат сами же рассказы ленинградцев. В них — в тексте, в интонации — звучит: да, нам тяжело, больно вспоминать, но еще больнее было бы думать, что такое никому не нужно, кроме нас самих.

А ведь действительно, если все это было на планете — тот блокадный смертельный голод, бессчетные смерти, муки матерей и детей, — то память об этом должна служить другим людям и десятилетия и столетия спустя.

Уже с 1944 года, со дня снятия блокады, когда выставку обороны Ленинграда стали переделывать в Музей обороны, начался, по сути, правдивый, впечатляющий рассказ о героизме девятист дней. Один из создателей музея, *Василий Пантелеймонович Ковалев*, наизусть помнит все экспонаты, он рассказывает так, словно ведет нас из зала в зал: вот зал авиации с бомбардировщиком, который первым бомбил Берлин в сорок первом году, а вот в зале артиллерии миномет братьев Шумовых, дальше — несколько залов партизанского движения...

Был там и дневник Тани Савичевой, тот самый, который, бережно сохраняемый, выставлен ныне в центре мемориала

ла Пискаревского кладбища. Записки девочки (она погибла в 1945 году в эвакуации) стали одним из грозных обвинений фашизму, одним из символов блокады. Дневник имеет свою историю. «Принес его Лев Львович Раков, директор музея, — рассказывал нам В. Ковалев. — Эта маленькая книжка производила невероятное впечатление. Зал, в котором она была, отличался особенным оформлением: потолок был сделан в виде палатки, были колонны, изображающие лед, и при входе в зал была витрина, покрытая как бы изморозью. За этой витриной стояли весы, и на весах лежало 125 граммов хлеба, а напротив была витрина, в которой был сосредоточен материал по пайкам, которые выдавались ленинградцам. Паек все уменьшался, уменьшался, дошел до 125 граммов, потом, с открытием Дороги жизни, начал возрастать. Посреди музея стояла витрина из старого музея Ленинграда, с одной стороны лежал дневник Тани Савичевой, синим карандашом написанный, с другой стороны лежали ордена погибших в блокаду, в том числе лежали документы погибшего молодого человека. А перед этим залом был зал снайперский.

Я помню, как стояла леди Черчилль у этого экспоната — дневника Савичевой, стояла около витрины, и на глазах были слезы, когда ей перевели содержание. Стоял у этой книжки Эйзенхауэр. Он был в музее вместе с Жуковым. Буденный долго стоял, Калинин. (Кстати, дом, в котором когда-то жил Калинин, был как раз напротив музея, в том же Соляном переулке.) ...»

...Данная наша работа потребовала собрать тысячи страниц дневников и записок блокадников, тысячи страниц, «снятых» с магнитофонной ленты, — что с этим делать? Что отобрать и как выстроить? Без такой, без авторской, работы материал сам себя похоронит; кто и когда это прочтет?

А с другой стороны, главными авторами все-таки должны оставаться блокадники. Они рассказывали — мы записывали. Они передали нам свои дневники, свои записки-воспоминания. Теперь это и нашей памяти боль и богатство.

Читателю конечно же нужны, интересны прежде всего те, кто сам все это пережил, люди-свидетели, люди-документы. Мы это сознавали, да и поневоле немеешь перед их правдой и судьбой. Свою авторскую задачу и роль мы видели в том, чтобы дать ленинградцам возможность встретиться друг с другом на страницах нашей работы, в главах «Блокадной книги». У этих сотен столь разных людей судьба одна — ленинградская, блокадная. У них столько общих мыслей, чувств, неуходящих образов, картин — одно потянется к другому, голос отзовется на голос, боль, слеза — на боль и слезу, гордость, что все же выстояли, — на гордость... Что из этого отобрать, оставить? Есть факты явно невыносимые, есть истории легендарные, которые и не проверить... Мы опускаем сотни страниц того, что так старательно искали, записывали, расшифровывали, если эти страницы не выдерживают соседства других страниц, рассказов, судеб. Надо было оставить самое значительное и самое обыденное. Хотелось сохранить и всю индивидуальность и «неправильность» рассказа, «голоса» в ущерб любым литературным соображениям. Литература (и хорошая) уже была. И еще будет. Всему свое время и место. У литературы свои преимущества и возможности. Но и своя ограниченность, если имеешь дело с таким событием и такими страданиями. Пусть на этих страницах выговорится сама память блокадная — ее языком и «стилем». Поэтому мы просим принять неправильности и повороты живого рассказа. Скорее попросим извинить нас за некоторые поправки, сокращения, за наши вторжения и комментарии, за невольные «разрывы» житейских и семейных судеб...

Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали страдания — они еще и действовали. Они работали, они помогали воевать, они спасали, обслуживали других, кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал работу заводов, фабрик. В сущности, это было в каждом рассказе — голод, холод, обстрелы, лишения, смерти и, следовательно, душевные проблемы, порождаемые страданиями, и тут же активность людей, то, что они делали,

как боролись, несмотря ни на что. Три эти стороны жизни появлялись в любом рассказе. Конечно, в каждом рассказе, в каждой судьбе три эти части не расчленены. Разъединять цельное повествование трудно. Потому что каждый рассказ был рассказом не о каком-то случае. В блокаду люди жили, поэтому и рассказывали они о всей жизни, где сплетались воедино и предвоенные годы, и семья, и послевоенная судьба, там были и фронт, и эвакуация, и нынешняя жизнь. Из этого цельного, связанного чувством и настроением изложения приходилось брать, выдирать один какой-то эпизод, а то всего лишь фразу, мысль, то есть разрывать неразрывное. Приходилось исключать в рассказах фронт, хотя город был неотделим от него. Было обидно обходить бойцов Ленинградского фронта, которые несли тяготы голода, не имели сил прорвать блокаду, освободить город, но в то же время не пустили фашистов в город, не позволили им снять войска из-под Ленинграда для других фронтов. Не только враг держал город в блокаде, но и голодные, малочисленные армии Ленинградского фронта лютой хваткой держали гитлеровские армии у стен Ленинграда.

Один за другим — ударами Синявинской операции и на Московской Дубровке — срывались немецкие планы захвата города Ленина. Всего не объять: у этой части книги своя тема.

Блокадная книга составлена из записей, рассказов нескольких сотен человек. Мы не могли упомянуть всех, кого записали, не могли использовать всего собранного материала. Но все равно так или иначе они присутствуют в этой книге, в этом отборе. Мы начали с переживаний, может, наиболее заповедных, к которым память рассказывающих (всех) прикасается осторожно, с особой болью и трепетностью, но устремлена она в ту сторону обязательно и постоянно — это голод, это обстрелы, бомбежки, первая осень, первая зима блокады 1941/42 года и весна 1942 года. С этого приходится начинать. Надо прежде всего представить всю меру лишений, утрат, мучений, пережитых ленинградцами, только тогда можно оценить высоту и силу их подвига.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПРО ИЗВЕСТНУЮ ФОТОГРАФИЮ

...Весенний день 1942 года. Две женщины идут по улице, с ними девочка лет пяти — она на ходу пытается поиграть, попрыгать...

В этот момент их сфотографировал военный корреспондент где-то в районе Невского.

Эту фотографию мы потом увидели в музее Ленинграда, в музее Пискаревского кладбища, в книгах и альбомах, посвященных блокаде. Ее перепечатавают в журналах в памятные даты вместе с фотографиями занесенных снегом троллейбусов, саночек с мертвецами...

Присмотревшись, видите: первая женщина постарше, вторая — еще ребенок, девочка, но и лицо и фигура у нее старушечьи. А у прыгающей девочки не ножки — спички, и только колени уродливо раздались...

Мы всматривались заново в эту фотографию, сидя в квартире *Вероники Александровны Опаховой*. Скоро пришла и ее дочь, *Лора Михайловна*, такая же невысокая, как мать, такая же приветливая, но более сдержанная, с какой-то неуходящей грустью в глазах.

На столе перед нами лежал семейный альбом. Знаменитая на весь мир блокадная фотография здесь, в этой квартире, — семейная память...

Женщины, что сидели перед нами, никак не связывались в воображении, не соединялись с теми, что на фотографии.

Блокадники вкраплены в массу ленинградцев.

Эту женщину, Веронику Александровну, многие, возможно, даже видели, приходя на Мойку в Академическую капеллу. Старая женщина с очень «домашним», добрым лицом проверяет билеты, предлагает программки. Кажется, что она вам лично благодарна за то, что пришли. Может быть, еще и потому, что вы, не зная того, пришли послушать и ее дочь Лору Михайловну, которая поет в хоре. А живут они тут же, на Мойке, в двух шагах от места работы.

В их непросторной квартире мы долго рассматривали знаменитую фотографию. От нее и начался рассказ — сначала матери, затем и дочери.

«...— Вы не видели людей, которые падали от голода; вы не видели, как они умирали; вы не видели груды тел, которые лежали в наших прачечных, в наших подвалах, в наших дворах. Вы не видели голодных детей, а у меня их было трое. Старшей, Лоре, было тринадцать лет, и она лежала в голодном параличе, дистрофия была жуткая. Как видите по фотографии, это не тринадцатилетняя девочка, скорее старуха.

— Вероника Александровна, вот эта слева — Лора?

— Да... Мне было тридцать четыре года, когда я потеряла мужа на фронте. А когда нас потом эвакуировали вместе с моими детьми в Сибирь, там решили, что приехали две сестры — настолько она была страшна, стара и вообще ужасна. А ноги? Это были не ноги, а косточки, обтянутые кожей. Я иногда и сейчас еще смотрю на свои ноги: у меня под коленками появляются какие-то коричнево-зеленые пятна. Это под кожей, видимо, остатки цинготной болезни. Цинга у нас у всех была жуткая, потому что сами понимаете, что сто двадцать пять граммов хлеба, которые мы имели в декабре месяце, это был не хлеб. Если бы вы видели этот кусок хлеба! В музее он уже высох и лежит как что-то нарочно сделанное. А вот тогда его брали в руку, с него текла вода, и он был как глина. И вот такой хлеб — детям... У меня, правда, дети не были приучены просить, но ведь глаза-то просили. Видеть эти глаза! Просто, знаете, это не передать... Гостиный Двор горел больше недели, и его залить было нечем, потому что водопровод был испорчен, воды не было, людей здоровых не было, рук не было, у людей уже просто не было сил. И все-таки из конца в конец брели люди, что-то такое делали, работали. Я не работала, потому что, когда я хотела идти работать, меня не взяли, поскольку у меня был маленький ребенок. И меня постарались при первой возможности вывезти из Ленинграда: ждали более страшных времен. Не знали, что все пойдет так хорошо,

начнется прорыв и пойдут наши войска, пойдет все очень хорошо. Нас вывезли в июле месяце сорок второго года.

— А третья — ваша младшая?

— Да. Как видите, она пытается прыгнуть, хотя ее колено вот такое было: оно было все распухшее, налитое водой. Ей четыре года. Что вы хотите? Солнышко греет, она с мамой идет, мама обещает: вот погуляем, придем домой, сходим в столовую, возьмем по карточке обед, придем домой и будем кушать. А ведь слово „кушать“ — это было, знаете, магическое слово в то время. А дома она, бывало, садилась на стул, держала в руках кошелек такой, рвала бумажки — это было ее постоянное занятие — и ждала обеда. Животик у нее был, как у всех детей тогда, опухший и отекший. Потом, когда мы покушаем, она снова садится на свой стул, берет эти бумажечки и снова рвет, наполняет кошелек.

— Вроде карточек они ей казались?

— Да, она бумажки рвала вроде как талончики на хлеб. Она занималась уничтожением мелких бумажонок. Сейчас она взрослый человек, у нее двое детей.

— Как ее зовут?

— Ее зовут Долорес. Она родилась в тридцать седьмом году. У меня муж был военный. Жили мы тогда в военном городке. В то время вернулись очень многие наши военные, которые были в Испании. Мужу понравилось это испанское имя, и он дал его дочке.

— А где погиб ваш муж?

— Муж погиб в сорок втором году при переправе через Ладогу. Он был человеком мирной профессии. Он музыкант, был гражданским дирижером любительских оркестров. Потом ушел на военную службу и стал военным дирижером. И медиком. Был обучен и как медик. А среднюю дочь Бертой зовут, она тоже жива. Все они у меня живы, вся тройка.

— Вы получали иждивенческие карточки?

— Да, иждивенческие, поскольку я не работала. Я была в санитарной бригаде у нас в доме. Но когда врач узнал, что у меня трое детей, меня освободили. А так я ходила заниматься на медицинские курсы, ну, первая помощь: упал

раненый, каким-то осколком подбило, надо втащить в дом, в сануголок, перевязать. Тогда все ленинградцы занимались этим.

— Где вы жили?

— Жили на Гражданской улице, в Октябрьском районе, дом девятнадцать. Сейчас наш дом — Мойка, двадцать, квартира семнадцать. Дочь моя работает уже двадцать лет здесь, в Капелле.

— И вы тоже?

— Я работаю тоже в Капелле, с шестьдесят восьмого года, билетером. У нас на Гражданской была двадцатиметровая комната и такая семья — вот дочери и дали эту квартиру.

— Вот здесь на фотографии — куда вы идете сейчас?

— Насколько я понимаю, это Невский проспект. У нас маршрут был такой: мы выходили из дома, шли по Майорова, по Герцена, делали круг сюда, к ДЛТ¹. Я их водила, чтобы отвлечь от мысли, что надо кушать. Мы просто гуляли. Лора только что поднялась. Врач сказал, что ее надо больше тренировать в ходьбе: у нее совершенно была отнята левая сторона. Видите — она идет с палочкой. И врач говорил, что пусть она как можно больше ходит. Так что мы делали очень большие круги. Даже иногда заходили в кино, смотрели, чтобы отвлечь как-то мысли от еды.

— Кинотеатры работали?

— Работали уже. Мы раз в кинотеатре „Молодежный“ смотрели кинокартину „Свинарка и пастух“, и была тревога. Сеанс прервали, зал затемнили, и мы немножко посидели там. Зимой, конечно, было труднее, потому что, сами понимаете, воды не было, водопровод нарушен. Значит, люди шли с чайниками, кастрюльками, с санками — кто как мог. И вот в этих люках (были люки открыты с чистой водой) брали воду. А потом у нас в доме дали воду в прачечную, и мы в эту прачечную ходили цепочкой, потому что там лежали груды мертвых, которых увозили машины. Подбирали по улице мертвых, складывали в прачечной (потом машина

¹ ДЛТ — Дом ленинградской торговли, универмаг.

приезжала и забирала). И там же вода была, в прачечной. Так что мы шли рука за руку. Кто боялся, тот не смотрел в ту сторону.

— А цепочкой шли потому, что боялись?

— Во-первых, потому что боялись, а потом потому, что не было света. Первый несет лучину, как в деревне, и последний несет лучину, а остальные все идут и держат в руках кто чайничек, кто кувшинчик. Надо же помыться, надо же попить, надо и приготовить.

— Сговаривались?

— Сговаривались с соседями по лестнице, по площадке и шли. Если я вот могла взять кого-либо из ребят, давала чайник или кувшин, чтобы шли вместе.

— Вернемся к фотографии. Вы гуляли по проспекту Майорова, а потом?

— Потом шли по Герцена до Невского, вот здесь, около кино „Баррикада“, выходили на Невский. Здесь была открыта масса магазинчиков с канцелярскими принадлежностями, с книжками.

— Это февраль-март сорок второго года?

— Это скорее апрель-май, перед нашим отъездом. Уволили в июле (у меня где-то даже эваколисток есть). Меня тогда в военкомат пригласили как жену военнослужащего, потому что у меня в мае прекратилась выплата по аттестату. Тут я начала жить на то пособие небольшое, что мне военкомат давал на детей, поскольку их было трое.

— Лора Михайловна, а вы помните вот этот день? Как вы тут идете с матерью, с сестренкой?

— Нет.

— А другие прогулки, подобные этой, помните? Сколько вам тогда было лет?

— Мы с мамой, казалось, тогда одинакового были возраста. А мне не было тринадцати лет.

— Вы помните свое состояние болезни, голода? Как вы помните свои двенадцать-тринадцать лет?

— По-моему, самое страшное — это когда человек все время хочет есть, а есть ему нечего совершенно. А второе, когда ни руки, ни ноги не действуют и не знаешь, будешь

ли ты жить и действовать вообще. Врач приходила каждый день и смотрела, но я понимала, что она только проверяла, жива я или не жива.

— А помочь нечем было?

— Чем врач могла помочь? Она выписала шроты, ну, жмых, выжимки, которые были у нас в детской больнице, шротовое молоко. Но это все было, конечно, несъедобное. У нее было две таких больных, как я, то есть я и еще одна девочка.

— Это был голодный паралич?

— Паралич на почве дистрофии. Однажды она пришла и сказала, что моя „напарница“ умерла.

— Она это вам сказала?

— Нет, она сказала маме, но у меня слух хороший, и я слышала, что она сказала за дверями в коридоре. Вроде того, что и со мной должно повториться. И когда на другой день она пришла и увидела, что я жива, она даже удивилась. А потом я встретила эту врачуху. Это после войны, наверно, в пятьдесят третьем году было. Мы шли, у меня ребенок уже был, маленький. Она маму спрашивает: „Как вы живете? Как ваша семья, муж? Лора, конечно, умерла?“ Я говорю: „Доктор! Я жива, у меня даже ребенок на руках“. Она онемела, она не знала, что сказать. То есть это вообще чудо из чудес получилось.

— И что же вас спасло? Мама?

— Мама, конечно, с папой, пока он был. И очень хотелось жить. Вы даже не представляете! Я даже удивляюсь, что у ребят моего возраста была такая большая сила воли. Очень хотелось жить.

— А какой была младшая сестренка, вы помните?

— Ну как же! Я помню, у нее такое состояние было, что она сидела и стригла бумагу. У нее мозоли на руках были от этого. Это, конечно, такое психическое состояние было у ребенка. Маленькая, четыре годика. Ей есть все время хотелось, понимаете? Когда ребенок есть хочет, он просит. А она не просила, потому что понимала, что взять неоткуда. Она сидела и стригла и рвала бумажки, то есть даже могла сойти с ума.

— Стригла до мозолей?

— Да, у нее пальцы были в мозолях. Когда мама отнимала у нее ножницы, она находила новую бумажку и молча начинала ее рвать».

Позже мы встречали похожее и в других рассказах о блокадных голодающих детях. Мальчики и девочки рвали, стригли бумажки, сидели, покачиваясь из стороны в сторону, что-то ковыряли непрерывно, методично, стараясь как-то заглушить сводящее с ума чувство голода.

«— Вы говорите, Вероника Александровна, Лора заболела в декабре?

— Да. В декабре. Она пошла первый раз в булочную сама. Стояла в очереди. Пришла и сказала, что у нее ножка слабая, ватная какая-то. Ну, полежала. Ничего. Потом пошла со мной дрова пилить, потому что врач говорила, что тепло — это первое дело, кроме еды, нужно еще и тепло. И вот когда мы пошли с ней пилить дрова, она свалилась окончательно. Наверх ее уже пришлось нести. Она лежала с декабря до мая. Я не могу сказать время точно, конечно, но в начале мая она начала вставать. И врач, которая ходила к нам, говорила, что обязательно делайте прогулки побольше, чтобы укрепиться, потому что был период такой в декабре-январе, когда мы все легли, не было уже сил ни бороться, ни желанья встать, ни желанья что-либо делать. Двери в квартире были открыты настежь, входил кто хотел. И вот как-то раз пришла врач, я лежала, и все лежали, потому что мы уже потеряли всякие ощущения от такой жизни. Врач на меня так накричала, сказала, что по квартире мы должны ходить. Ух как она меня ругала! Это все-таки был хороший очень доктор. Она ходила к нам изо дня в день, хотя и не надеялась, что мы выживем. В последнее время она мне говорила: „Что я могу? Разве только подписать акт о смерти“. Ко мне приходили из жакта, проверяли, жива ли Лора. Это потому, что в то время бывало, когда люди умирали, оставшиеся пользовались их карточками. Ну, и всегда удивлялись, что она вот лежит, но живет. У нее

было желание что-то иногда делать, что-то почитать, что-то пошить одной рукой, как-то приспособиться. И вот потом (я об этом говорила), когда наступила весна, пригрело солнышко, мы пошли гулять. Мне врач сказала: ходите, ходите, ходите, укрепляйте ноги. Ноги очень болели — после лежания долгого и после цинги.

— Вы говорили, что Лору соседки не узнали?

— Да. Мы вышли, и я думала недалеко с ней идти. Я решила, что мы посидим на солнышке, погреемся и пойдем обратно, все-таки еще на четвертый этаж надо поднять ее. Пусть она и весила всего ничего, но и я весила в то время сорок два килограмма. Вы сами понимаете, что это тоже уже вес одних костей. Мне было трудно поднимать ее. И соседки сказали, слава богу, мол, зиму вы пережили благодаря тому, что старшая девочка умерла, а вы пользовались ее карточкой. Тут Лора заплакала и сказала: „Мамочка! Пойдем отсюда. Не будем слушать этих старух!“ Они не поверили, что она жива. Не узнали... Мы начали делать прогулки. Сначала прогулки были не очень большие, а потом больше и больше. Как раз во время прогулки, видимо, я и натолкнулась на этого товарища, на фотографа.

— Когда вы впервые увидели эту фотографию?

— Впервые в Музее обороны. Даже не я увидела. Я была у своей приятельницы, мы с ней очень давно дружим. И она тоже прожила с ребятами долго здесь, в Ленинграде, и тоже эвакуировалась уже летом. Ее сын был в Музее обороны. А мальчишки, знаете, бегали туда, там были сбитые самолеты, немецкие каски, оружие и так далее. Он прибежал и говорит: „Тетя Роня! А я вас видел!“ А я говорю: „Где же ты меня видел?“ — „А я, говорит, был в музее, и там вы, Лора и Доля, все трое. И написано: «Ленинградцы на прогулке»... Когда у меня гостила с Севера средняя дочь, она была в музее и попросила, чтобы нам отпечатали эту фотографию. Но поскольку она сама уехала, пришлось идти туда Лоре. Вот когда Лора пришла и попросила, чтобы ей выдали эту фотографию, и когда она ее увидела, с ней стало плохо. Вы сами понимаете — увидеть себя в таком состоянии! И вспомнить все это! Снова за какой-то короткий

момент пережить весь этот страх и ужас! Мужчина к ней подошел, какой-то тамошний сотрудник, и говорит: „Что вы плачете? В этот год — сорок первый и сорок второй — погибла такая масса народу. Не плачьте! Их уже нету. А вам жить надо“. А женщина, которая выдавала фотографии, говорит ему: „Вы видите, это она сама!“ Он ужасно смутился, отошел от нее с извинениями. Вот так мы получили эту фотографию. И я храню ее у себя. Все-таки пускай она будет, хотя это ужасно, конечно, и страшно, и всегда вызывает волнение и слезы».

СПОРЯЩИЕ ГОЛОСА

Вот что стоит за одним снимком. Для безвестного военного фотографа-корреспондента он означал надежду, пробуждение к жизни. Для нас, сегодняшних, он — взгляд издалека в ту страшную и легендарную блокадную реальность. Для семьи Опаховых, матери и дочерей, это живая боль памяти¹.

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
Как полдень жизни, будешь вспоминать
Дом на проспекте Красных Командиров,
Где тлел огонь и дуло от окна.
Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод.
Ликуя, плача, сердце позовет
И эту тьму, и голос мой, и холод,
И баррикаду около ворот.

Ольга Берггольц

Надежды эти казались поэтическим образом, мечтой, а не предвидением. Прошло тридцать пять лет, и оказалось, что Ольга Берггольц права. Страшные, голодные годы вспоминаются с ужасом, с тоской, со слезами, «ликуя и плача», сердце зовет и удивляется стойкости собственной души, ее возможностям, силе подвига ленинградцев.

¹ Спустя три месяца после того, как была сделана эта запись, Лора Михайловна Опахова умерла. Блокада, даже отпустив, «своих» находит.

Только поэзия обладает таким даром пророчества. В пустых, вымороженных, темных квартирах после мертвого стука метронома звучал негромкий, чуть запинаящийся женский голос, который ждали все ленинградцы. Сквозь голодные видения к людям прорывались сострадание и любовь. Они исходили от женщины, которая так же мучилась, голодала, все понимая, все чувствуя.

И вот спустя целую жизнь мы приходим к этим людям и просим рассказать нам о блокаде. Не вообще о блокаде, о ней много написано, а о своей жизни в блокаду. Первое, что они отвечали:

«Это слишком тяжело, это невозможно, я не хочу вспоминать, нет, нет, у меня было чересчур страшное...»

Про других, про отдельные эпизоды — как работала фабрика или как рыли окопы и ставили противотанковые надолбы — пожалуйста. Но только не про свою жизнь. А мы просили именно про это, про себя, про свои переживания. В конце концов они соглашались. За исключением, может, двух или трех человек. Может быть, некоторые рассказывали не все. Иногда они щадили нас. Иногда они боялись за себя. Погружаться в прошлое было мучительно. Рассказывая, плакали, умолкали, не в силах справиться с собою. После этих рассказов некоторые долго не могли успокоиться... В последующие дни многие звонили нам, приходили, писали, вспомнив что-то еще и еще или же, наоборот, ужасаясь тому, что прорвалось, прося стереть запись.

Они боялись вернуться в блокадный город, в свою заиндевелую квартиру, в которой человек «у себя на кровати замерзал, как в степи» (О. Берггольц). Мы настаивали с жестокостью, которая нам самим была тягостна и даже стыдна. Мы просили, ссылаясь на историю, на новые поколения, которым надо знать все как было. Втайне нас мучили сомнения — стоит ли? Для чего снова спустя десятилетия вытаскивать из забвения невыносимые муки и унижительные страдания человеческие? Разве это кому-нибудь поможет?

Рассказав нам и про голод, про госпиталь, где она работала, и про эвакуацию, *Галина Евгеньевна Экман-Криман*

закончила так: «Не хочется к этому возвращаться. Забывать не надо, да и не забудется никогда, но все-таки я не хочу вспоминать».

Оглядываясь сегодня назад, люди не верят себе, тому, что они могли. Это был особый взлет человеческих способностей: да, в самой тяжелой поре жизни был и взлет. Об этой поре не хочется вспоминать, но когда вспоминаешь, начинаешь думать, что все же это была пора, когда каждый мог свершить, проявить благородство, раскрыть щедрость своей души, ее смелость, любовь и веру.

У каждого оказывался свой рассказ. У каждого было свое. Повторения были неизбежны, но все равно в каждом рассказе была своя, ни на что не похожая история.

Мы слушали, записывали, и не раз нам казалось: вот он — предел страданий, горестей, но следующая история открывала нам новые пределы горя, новую вершину стойкости, новые силы человеческого духа.

Насыщение материалом не проходило. Мы так и не дошли до того ожидаемого края, когда дальнейшие рассказы уже ничего существенного не могут добавить к тому, что мы знаем. Может, этот край где-то впереди, еще через тридцать, пятьдесят рассказов, а может, его вообще нет и такого насыщения не существует.

Когда мы 5 апреля 1975 года делали свою первую запись, приехав к *Марии Гурьяновне Степанчук* (ул. Шелгунова, д. 8), мы знали про главную боль ее памяти — про погибшую девочку. Но женщина настойчиво и как-то испуганно уходила от этого... И мы не решились настаивать. Потом оказалось, что именно этим причинили человеку еще большее страдание. Сложное это чувство — блокадная память!

— А знаете, что было после вашего ухода? — позволила нам женщина, от которой мы получили адрес Марии Гурьяновны. — Прибежала ко мне расстроенная, что не рассказала главного: «Я боялась, что расплачусь, если заговорю о девочке, и не смогу дальше рассказывать, и люди зря приезжали, старались».

Затем, растревоженная, объехала всех подруг и знакомых блокадных (из двадцати семи, как сказала нам женщи-

на, осталось их у нее четверо). Сходила на могилку дочери, сходила в церковь. И заболела, слегла.

И, кажется, не только потому, что воспоминания расстроили. Но и от какого-то чувства вины перед своей погибшей дочерью, о которой ничего не рассказала: словно бы она пожертвовала ее памятью, чтобы только «не помешать» нам работать — собирать блокадную быль.

А потом Галина Максимовна Горецкая (знакомая наша) показала ей вышедшую в Ленинграде книгу «По сигналу воздушной тревоги», где описана трагедия и того рокового для ее дочери обстрела, и взрыва на заводе (девочка находилась в яслях вблизи завода). Каким-то странным образом это подействовало на женщину не то чтобы успокаивающе, но все же сняло напряжение последних дней. Увидела, убедилась: значит, и без ее рассказа люди будут знать, будут помнить!..

Есть в воспоминаниях блокадников и спор, а точнее, продолжение спора (не повседневного ли?) с теми, кто не только «не помнит», но и сердится, когда напоминают. Это как с ребенком в семье: вы его оберегали-оберегали от жизненных драм (чужих) и горя (чужого) — «пусть окрепнет душа», — а потом обнаруживается черствость, глухота...

— Меня спрашивают: блокада, блокада. А что такое на самом деле блокада? Внучка в прошлом году писала и нынче говорит: у тебя доказательств нету.

Это вырвалось у *Таисии Васильевны Мещанкиной* (ул. Софьи Ковалевской, д. 9) с обидой уже под конец ее рассказа. Она пыталась, и не раз, дома, среди своих же детей и внуков рассказать какие-то подробности про блокаду — не верили. А чем она могла доказать?

— Вот я вам говорю и думаю, — может быть, и вы не поверите?

Мы сплошь и рядом сталкивались с этим ожиданием недоверия, болезненным, опасливым чувством, которое возникало по ходу воспоминаний; по мере того как человек слышал себя, он настораживался, его история сглаживалась, усыхала, подменялась общеизвестными фактами.

«...— Моя знакомая преподает в техникуме, — рассказал *Нил Николаевич Беляев*. — У них в семьдесят пятом году состоялась встреча какого-то старого блокадника-ленинградца с рассказом для студентов о положении дел в сорок втором — сорок третьем годах. И когда он, значит, рассказывал все эти тяжелые истории, что людям приходилось испытывать во время голода, то многие студенты слушали весьма и весьма, так сказать, невнимательно. А после его рассказа вышла девушка и сказала, что она не понимает, что же здесь такого: подумаешь, человек в день не съел эти сто двадцать пять или сто пятьдесят граммов хлеба, да она сейчас может неделю не есть хлеба и отлично себя чувствовать.

— Причем без всякой иронии это?

— Неизвестно... Ведь сейчас вообще вроде считают, что хватит говорить о блокаде».

То, что они сыты и благополучны — девушка, возражавшая блокаднику, и сомневающаяся внучка, — это, конечно, хорошо. Но вот что эти ребята, кажется, «моральные дистрофики» (ленинградское, военного времени, выражение) — это уже хуже.

Но это самое простое — обвинить в глупости, в благополучии, в бездушии. Или же отмахнуться от них, признать исключением. Стоит вдуматься — при намерениях самых благих, при душевной и гражданской чуткости легко ли человеку, никогда не испытавшему голода, вот так, с ходу, умозрительно представить себе, что это такое. Что такое долгий ленинградский голод и что значит при этом голоде кусочек хлеба в 125 граммов, что значит обломок хлебной корки... Нет, требовать этого от человека, выросшего в сытости, в тепле, нельзя, ему рассказывать надо терпеливо, убедительно, воображение его разбудить. Преемственность поколений налагает обязанности на тех и на других. Новые поколения должны узнать, услышать рассказы людей, которые все это перенесли и пережили.

«Мы старались не рассказывать, но я думаю иногда, что, может быть, мы неправильно сделали, потому что и Та-

марин сын, и Виктор не понимают. А мы избегали всегда с ними об этом говорить, рассказывать. Может быть, и зря, потому что они так и не поняли. Мишка как-то сказал Тамаре: „Подумаешь! Вот папа — он на фронте был!“» (*Сезеневская Нина Вячеславовна*).

Во время одной из записей блокадного рассказа возник разговор, поразивший нас. Рассказывала женщина, слушали ее дочь, зять, внуки. Такое бывало часто. Конечно, и нам, и рассказчику лучше было обходиться без посторонних слушателей, но это не всегда удавалось. И уединиться было некуда, кроме того, любопытство одолевало и домашних, и соседей. Впрочем, иногда реплики слушателей помогали, их недоверие, их сочувствие, ахи, слезы возбуждали память.

Та запись, о которой идет речь, была нелегкой, рассказ был тяжелым, и, видимо, младшим все эти подробности о бедах их семьи были неизвестны. Они хотели все знать и не хотели. Сами они никогда не стали бы расспрашивать, но тут слушали внимательно, напряженно. Первым не выдержал зять. Не такой уж и молодой, не ленинградец, он воскликнул:

— Зачем, ну зачем нужны были такие страдания? Сдать надо было город. Избежать всего этого. Для чего людей было губить?

Так просто, естественно вырвалось у него, с досадой на нелепость, на странность того, минувшего. Поначалу мы не совсем поняли, что он имел в виду. Ему было лет тридцать пять, бородатый, вполне солидный мужчина, казалось, он не мог не знать. Потом мы сообразили, что мог. То есть, вероятно, он где-то когда-то слышал, читал о приказах гитлеровского командования, о планах фюрера уничтожить, выжечь, истребить, но ныне все это стало выглядеть настолько безумным, фантастичным, что наверняка потеряло реальность.

Время, минувшие десятилетия незаметно упрощают прошлое, мы разглядываем его как бы сквозь нынешние нормы права и этики.

В западной литературе мы встретились с рассуждением уже иным, где не было недоумения, не было ни боли, ни

искренности, а сквозило скорее самооправдание капитулянтов, мстительная попытка перелицевать бездействие в доблесть... Они сочувственным тоном вопрошают: нужны ли были такие муки безмерные, страдания и жертвы подобные? оправданы ли они военными и прочими выигрышами? человечно ли это по отношению к своему населению? Вот Париж объявили же открытым городом... И другие столицы, капитулировав, уцелели. А потом фашизму сломали хребет, он все равно был побежден — в свой срок...

Мотив этот, спор такой звучит напрямую или скрыто в работах, книгах, статьях некоторых западных авторов. Как же это цинично и неблагодарно! Если бы они честно хотя бы собственную логику доводили до конца: а не потому ли сегодня человечество наслаждается красотами и богатствами архитектурными, историческими ценностями Парижа и Праги, Афин и Будапешта да и многими иными сокровищами культуры, и не потому ли существует наша европейская цивилизация с ее университетами, библиотеками, галереями, и не наступило бездонное безвременье «тысячелетнего рейха», что кто-то себя жалел меньше, чем другие, кто-то свои города, свои столицы и не столицы защищал до последнего в смертном бою, спасая завтрашний день всех людей?.. И Париж для французов да и для человечества спасен был здесь — в пылающем Сталинграде, в Ленинграде, день и ночь обстреливаемом, спасен был под Москвой... Той самой мукой и стойкостью спасен был, о которых повествуют ленинградцы.

Когда европейские столицы объявляли очередной открытый город, была, оставалась тайная надежда: у Гитлера впереди еще Советский Союз. И Париж это знал. А вот Москва, Ленинград, Сталинград знали, что они, может быть, последняя надежда планеты...

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли... — так гласила секретная директива 1-а 1601/41 немецкого военно-морского штаба „О будущности города Петербурга“ от 22 сентября 1941 года. Далее следовало обоснование: ...После поражения Советской России нет

никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у ее новой границы. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и непрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты... С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

Документ этот напечатан в материалах Нюрнбергского процесса (изд. 3-е. М., 1955, т. 1, стр. 783).

Указание это повторялось неоднократно. Так, 7 октября 1941 года в секретной директиве верховного командования вооруженных сил было: «Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже — Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником...» («Нюрнбергский процесс», т. 1, стр. 784).

Кейтель указывает командующему группой армий «Центр»: «Ленинград необходимо быстро отрезать и взять измором».

Москва и Ленинград обрекались на полное уничтожение — вместе с жителями. С этого и должно было начаться широко то, что Гитлер имел в виду: «Разгромить русских как народ». То есть истребить, уничтожить как биологическое, географическое, историческое понятие.

Но подвиг ленинградцев вызван не угрозой уничтожения... Тогда, в блокадные глухие дни, в снежных сугробах Подмосковья о ней лишь догадывались, ее представляли. Документами она подтвердилась куда позднее. Нет, тут было другое: простое и непреложное желание защитить свой образ жизни. Мы не рабы, рабы не мы, мы должны были схватиться с фашизмом, стать на его пути, отстоять свободу, достоинство людей.

Вот в чем оправдание и смысл подвига Ленинграда, вот от чего ленинградцы и все наши люди спасали себя и человечество, от каких жертв и мук, ради чего шли на любые

страдания, мучения, даже не помыслив об «открытых» городах. Кто-то должен был...

Чтобы оценить это, надо ощутить меру испытаний, вынесенных нашим народом.

«Как-то мне задали такой вопрос, — пишет *Александра Федоровна Соколова*, — почему у вас столько медалей, в том числе и „За победу над Германией“? Вы же не были на фронте? Верно, не были, а видели и перенесли не меньше, чем на фронте: знаю на вкус каждую травинку, вкус торфа, военных ремней, что остались у меня от финской войны...»

Нет, это не обычная склонность старших подчеркнуть преимущества свои и своего времени над людьми и временами нынешними. До поры до времени многим из них вообще не хотелось ни вспоминать, ни рассказывать. Даже казалось ненужной жестокостью.

Откладывали на дальше, на потом, когда придет время...

Мы отомстим за все, о чем молчали,
За все, что скрыли от Большой земли, —

звучали по радио стихи Ольги Берггольц в январе 1943 года.

Но если вчера, может, и стоило щадить израненные войной души соотечественников, то сегодня новым поколениям, наверное, как раз и нужно как можно полнее, подробнее узнать, ощутить, что было до них. Надо же им знать, чем все оплачено, надо знать не только о тех, кто воевал, но и о тех, кто сумел выстоять, об этих людях, не имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает война, какое это благо — мир...

«Очень рады, что так теперь хорошо живем, сыты и одеты все, ребятишек заставляем больше есть и все вспоминаем, как Лариса в семь утра в голод просыпалась и просила хлеба вчерашнего! Говорим:

- Лариска, нет хлеба.
- Ну тогда дайте завтрашнего!»

Это из письма *Веры Ивановны Павловой* (город Тосно).

Немолодая и конечно же, как почти все бывшие блокадники, потерявшая здоровье, *Екатерина Дмитриевна Янковская-Ладыженская*, которую мы видели молодой на довоенной фотографии (там красавица, каких мало), заявляет: «Если бы сказали, что вернем здоровье, красоту, молодость и еще раз пережить такое, — не захотела бы, не согласилась бы!»

А *М. М. Хохлова* (ул. Конторская, д. 18) написала нам:

«В это блокадное время я думала, с каким чувством, если переживем, будем вспоминать страшное время. Я ни у кого не спрашивала, какие у кого чувства остались, но у меня осталось чувство гадливости, и очень долго это чувство держалось, сейчас уже стерлось, притупилось. Осталось у нас с мужем еще до сих пор чувство пережитого голода во рту. Он иногда говорит: „Есть не хочется, но горят зубы, это все блокада, будь она неладна!“ И мне есть не хочется, но ноет язык».

«У меня была еще такая мысль — навсегда записать тот день, когда я буду сыта» (*Клавдия Петровна Дубровина*, ул. Сердобольская, 71).

«Только что прослушала передачу о том, что... вы начали собирать рассказы о жизни ленинградцев в блокаду... Хотя некоторая часть молодых людей, слушая рассказы блокадников, вдруг иронически скривив губы, заявляет, что настоящие блокадники все лежат на Пискаревском кладбище» (*Чиканина Александра Михайловна*, ул. Мытинская, 5/2).

Правда о пережитом миллионами людей в годы блокады, правда документальная, рассказанная людьми, которые все это лично прочувствовали, покажется, быть может, жестокой и сейчас. Но зато она (мы надеемся) прорвется к любому сердцу. И к сердцу той девушки, которая и без 125 граммов хлеба прожить может, тоже прорвется.

«Я прошел мимо новостройки, где плотники строгали доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал про запас.

...Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверью, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку и сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше?»

Это не блокада, это молодой Кнут Гамсун. Первый знаменитый его роман «Голод», во многом автобиографичный, написанный в 1890 году. Может быть, единственное до сих пор произведение мировой литературы, где голод человека стал основой сюжета, предметом тщательного писательского исследования. Голод погружает героя романа в такую замкнутость существования, которая исключает взаимопонимание с сытым благополучием окружающих.

Голод отъединяет героя. Сытые голодного не разумеют. Голод у Гамсуна и голод блокадника были разные не физиологически, а психологически — голод блокады был враг, засланный фашизмом, был актом ненависти, войны, участком сражения, которое вели ленинградцы с врагом.

Измученный, полубезумный от голода, мечется одинокий герой Гамсуна в благоденствующей Христиании. И не только ум и сердце наши, читательские, отзываются на то, что происходит с героем, но как бы и желудок и железы. Читатель словно бы сам переживает разные стадии голодания. Выразить силу голода непросто даже большому таланту. Только собственные переживания художника, память о его голодной юности, о мучительных годах хронического недоедания придали этому роману пронзительную достоверность. Изображение голода у Гамсуна считалось одним из самых сильных в мировой литературе. Любовь и голод правят миром, писал Шиллер, и, не раз повторяя эти слова, Максим Горький считал, что это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека.

Голод в романе Гамсуна и голод ленинградской блокады — явления разные. Ясно, что массовый голод — ситуация особая. Тем не менее, что замечаешь при первом взгляде — это сходство состояний:

«Есть приходилось что попало. Помню, приходила домой, и мне так хотелось кушать! Я жила тогда на улице Войтика. У меня там дрова лежали около печки, полено

или два. И вот я взяла это полено (сосновое, помню) и стала грызть, потому что молодые зубы хотели что-то кусать. Есть хотелось страшно! Вот грызу, грызу это полено, смола выступила. А этот запах смолы мне какое-то наслаждение доставлял, что хоть что-то я погрызу. Надо было что-то кушать, иначе неминуема смерть от голода, а это еще хуже, чем от обстрела. От голода очень тяжелая смерть» (*Елена Михайловна Никитина*, проспект Стачек, 26).

И снова Кнут Гамсун, литература:

«Еда уже оказывала свое действие, меня сильно тошнило, к горлу подступала рвота. Во всяком темном углу я искал облегчения, старался преодолеть тошноту, от которой снова пустел мой желудок, сжимал кулаки, делал над собой усилие, топал ногами и в бешенстве глотал то, что готово было извергнуться изо рта, — но все напрасно».

Здесь, как во всякой подлинной литературе, есть вызов холодному чистоплюйству — лишь любовь к человеку, а значит, и чувство сострадания, которому ничего не страшно. Человек мучится от неспособности удержать в себе пищу, так дорого ему доставшуюся, и автор страдает за человека и за его бессилие перед той самой «ироничностью жизни», о которой страстно, с болью писал Достоевский в «Идиоте»...

«Голод», роман молодого Кнута Гамсуна, снова и снова как бы вопрошает: что в вас сильнее — человеческое сострадание, понимание другого человека или эстетская брезгливость?

Но куда большее испытание для этих чувств и для нашей способности смотреть не отворачиваясь на человека страдающего — блокадные воспоминания. Да, человек, агонизирующий от лютого голода, куда как «неэстетичен!» К этому нужно быть готовым, если мы собираемся, хотим услышать, увидеть, понять всю правду, а не всего лишь дольку ее.

Нельзя понять всей подлости, всех преступлений фашизма, «заславшего смерть» в город (по очень точному выражению Ольги Берггольц), если не говорить о массовом голоде, об этом «наемном убийце» гитлеровцев.

Ведь блокадный голод, так же как голод лагерный (и как освенцимский и прочие крематории), числился в арсенале главных средств, с помощью которых фашисты осуществляли свои планы истребления целых народов, «обезлюживания» целых стран.

Кстати, многие наши самые беспощадные и правдивые рассказчики, это медики — врачи, медицинские сестры, санитарки, те, кто по профессии своей милосерден. Они о человеке голодающем, о массовом голоде расскажут вам, ничего не приукрашивая, потому что в их глазах никакая болезнь (а дистрофия, тем более алиментарная, — тяжелейшая болезнь), никакие проявления болезни человека не унижают. Например, одна женщина-врач рассказала о себе, что ходила по улицам «всегда мокрая», как ребенок: голод сожрал все мышцы, одни кости и кожа. «Я ходить не могла, но я работала» (*Ершова Мария Михайловна*).

Врач *Г.А. Самоварова* вспоминает:

«Съели всех кошек, съели всех собак, какие были. Уми- рали сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые и у них мало жира. У женщин, маленьких даже, жировой подкладки больше. Но и женщины тоже умирали, хотя они все-таки были более стойкими. Люди превращались в каких-то, знаете ли, стариков, потому что уничтожался жировой слой, и, значит, все мышцы были видны и сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были».

Врач *Кондратьева Анна Александровна*:

«Эти страшные лица, эти неподвижные глаза, с обтяну- тыми носами, при отсутствии мимики».

Но вначале даже возможно обострение самых разных чувств, эмоций, фантазий. К чему, как известно, сознатель- но стремились когда-то жаждущие «видений» монастыр- ские затворники и «пустынники».

Алиментарная, третьей степени, дистрофия — это не только скелет без мышц (даже сидеть человеку больно), это и пожираемый желудком мозг.

Кого настигал голод, корчились и мучились так же, как тяжелораненные...

«Лучше держались девочки, а мальчик двенадцати лет, Толя, очень страдал, уже недоедал изрядно, иногда ложился на скрипучую кроватенку и все время качался, чтобы чем-то заглушить чувство голода, качался до тех пор, пока мать на него не накричит, но опять потом начинал качаться. Потом, через какое-то время, я узнала, что он умер...» (М.М. Хохлова).

Да, голод в литературе «старой», классической, и массовый голод (к тому же, как во времена фашизма, организованный, направленный) — явления разного уровня и смысла.

Массовый бывал и прежде, но рассказывали о нем подробно, всерьез, пожалуй, лишь летописи.

«А коли вже была весна в року 1602, тот наход людей множество почали мерти; по пятеру, по тридцати у яму. Хворых, голодных, пухлых многое множество, — страх видети гневу Божого. А так при великих местах человека по одному у яму ховали: священники проводили.

Там же, которые ишли на низ, тые вси там померли, мало се застало. А так мерли одны при местах, на вулицах, по дорогах, по лесах, на пустыни, при роспутях, по пустых избах, по гумнах померли. Отец сына, сын отца, matka детки, детки матку, муж жену, жена мужа, покинувши детки свои, розно по местах, по селах разышлися. Один другого покидали, не ведаючи один о другом. Мало не вси померли.

А коли тот наход у ворот, албо в дому у кого стоячи хлеба просили, отец з сыном, сын со отцом, matka з дочкою, дочка з маткою, брат з братом, сестра з сестрою, муж з жоною тыми словы мовили силне, слезне, горко мовили так: „Матухно, залулюхно, утухно, панюшко, сподариня, солнце, месец, звездухно, дай крошку хлеба!“ Тут же подле ворот будет стояти з раня до обеда и до полудня, так то просячи. Там же другий под плотом и умрет.

...А коли варива просил, тые слова мовили: „Сподариня, перепелочко, зорухно, зернетко, солнушко, дай ложечку дитятку варивца сырого!“»

Так сообщал о массовом голоде белорусский летописец из деревни Баркулабово¹.

В книге «География голода» бразильский ученый, председатель Исполнительного комитета Организации по вопросам продовольствия и сельского хозяйства при ООН Жозуа де Кастро писал:

«На каждый печатный труд по проблемам голода имеется свыше тысячи трудов по проблемам войны. Соотношение более чем тысяча к одному! В то же время... от голода погибло гораздо больше людей, чем во время всех эпидемий, вместе взятых. Причиненный ущерб значительно по числу жертв и гораздо серьезнее по своим биологическим и социальным последствиям».

И дальше:

«Западная наука и техника, одержавшие блестящую победу над силами природы, не вели почти никакой борьбы с голодом. Ученые подчеркнуто хранили молчание об условиях жизни голодающих масс во всем мире. Сознательно или бессознательно, они стали соучастниками заговора молчания. Голод как явление социальное не был объектом их изучения»².

Современная литература, документальная и художественная, о фашистских концлагерях, о Ленинградской блокаде, литература о Второй мировой войне отразила и продолжает отражать жестокую правду XX века: голод, массовый голод вошел в арсенал, числится в арсенале недавних и потенциальных убийц народов как важнейшее оружие³.

¹ «Баркулабовская летопись. — В кн.: «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Мінск, «Навука і тэхніка», 1975, с. 145.

² Жозуа де Кастро. География голода. Сокр. пер. с англ. М., «Иностранная литература», 1954, с. 31.

³ О немецко-фашистском варианте использования этого оружия Жозуа де Кастро писал: «„План организованного голода“, осуществлявшийся третьей империей, имел солидную научную базу и совершенно определенные цели. Это было мощное оружие войны, обладавшее большой разрушительной силой, которую нужно было использовать в самых широких масштабах и с максимальной

Не писать сегодня об этом «оружии», забыть — то же самое, что «забыть» о запасах, складах атомной смерти.

Психологически разница между массовым, «блокадным» голодом и тем, что «у Гамсуна», принципиальная. Хотя и писатель повествует о том, что хорошо знает, испытал на себе, но испытал он это не в условиях массового голода. Тут напрашивается аналогия с журналистской памятью о солдатских окопах. Журналист побывал на передовой, пережил яростный обстрел, его могли и убить, так же как и солдата. Разница в их переживаниях, их восприятии передовой тем не менее огромная, даже принципиальная. Журналист приехал, пришел, он сидит в окопе, но он знает, что может и уйти отсюда. (Даже если и не уходит, не собирается уходить.) Солдат знает, что он уйти сам, по собственному желанию, не может.

И в этом разница — великая.

Вот такая разница и между «голодом» героя Кнута Гамсуна и «голодом» ленинградцев-блокадников. Блокадникам от голода, смертельного, невыносимого, «уйти» большей частью некуда было: он был кругом, на всем прижатом к заливу, к озеру, прошитом пулями, снарядами пространстве города, он блокировал человека наглухо.

ЗАСЛАННЫЙ В ГОРОД

Голод и триста лет назад и ныне — тот же. И мучения те же, и ощущения. Но к голоду блокады было особое отношение — это был враг, засланный фашизмом, это был противник, мешающий работать, воевать, это была война.

Один из авторов книги воевал осень и зиму, вплоть до весны сорок второго года, под Пушкином. Он сидел в око-

эффективностью. Именно так и поступали немцы, отбросив всякую сентиментальность и манипулируя продовольственными поставками в соответствии с конкретными целями этой разновидности „геополитики голода“, как назвал бы такой план Карл Гаусовгер и его клика немецких геополитиков» («География голода», с. 315).

пах, и каждую ночь позади, за спиной, полыхали отсветы ленинградских пожаров, багровые их пятна дырявили звездную темноту. Впереди взлетали вражеские ракеты, а позади горел город. Днем силуэт города подробно и четко вырисовывался на ясном небе. Многочисленные трубы не дымили, и воздух над городом был чист, лишь в нескольких местах поднимались толстые копотные столбы дыма от пожарищ. В одни и те же часы над передовой проплывали фашистские бомбардировщики, они летели бомбить, а к вечеру, сменяя их, с мягким шелестом, невидимые, неслись в город тяжелые снаряды.

В его батальоне были случаи дистрофии и голодной отечности, потому что солдатский паек был скудным, пусть не таким, как у горожан, но очень скудным, урезанным. Но война с этим не считалась, надо было стоять на посту, ходить в разведку, разгребать окопы от снега, таскать снаряды, патроны, чистить оружие. Кроме всего прочего, война — это еще и тяжелый физический труд, где нет ни выходов, ни перерывов.

Немцы не жалели ни мин, ни снарядов. Были дни, когда на участке батальона оставалось несколько десятков бойцов. Немецкие окопы у железной дороги были от наших всего метрах в пятидесяти. Насадив на штыки булки, немцы поднимали их над бруствером и предлагали переходить к ним, они обещали сытную кормежку и спокойную жизнь в плену. Они доказывали, что солдаты Ленинградского фронта обречены на гибель и если не подохнут от голода, то будут убиты. Не так-то легко было это слушать. Однако за всю зиму из его батальона не было случая перехода к немцам.

И хотя он прошел всю эту долгую войну, где были и наступление, и победы, и штурмы, и разные фронты, и все это не только видел, но и прожил, он затрудняется объяснить, каким образом голодным, промерзшим, ослабевшим воинам Ленинградского фронта удалось защитить, отстоять город, продержаться в обороне под городом в мелких, простреливаемых окопах на открытых низинах, и мало того — непрерывно атаковать, наседать, продвигаться на отдельных участках, не позволяя снять немецкому командованию

и перебросить дивизии из-под Ленинграда на другие фронты. Теперь, спустя столько лет, непонятым кажется и то, почему, каким образом в декабре, в самое тяжкое время, нашим солдатам стало ясно, что немцам в Ленинград не пробиться, не прорваться.

Ленинградцам надо было ходить на завод, работать, дежурить на крышах, спасать оборудование, дома, своих близких — детей, отцов, мужей, жен, обеспечивать фронт, ухаживать за ранеными, тушить пожары, добывать топливо, носить воду, возить продовольствие, снаряды, строить доты, маскировать здания.

Вале Мороз было в блокаду пятнадцать лет. Отец ее ушел в народное ополчение. Старшая сестра тоже хотела на фронт, ей это не удалось, она устроилась в военный госпиталь. В декабре 1941 года умер отец, через два месяца сестра, в конце марта мать. Валя осталась одна. Ей помогли устроиться на завод учеником токаря. Она делала детали для снарядных стабилизаторов. Она работала, всю блокаду работала.

Надо понять слово «работала» в его тогдашнем значении. Каждое движение происходило замедленно. Медленно поднимались руки, медленно шевелились пальцы. Никто не бегал, ходили медленно, с трудом поднимали ногу. Сегодня здоровому, сытому молодому организму невозможно представить такое бессилие, такую походку.

«Примерно такое ощущение, что ногу не поднять. Понимаете ли? Вот такое ощущение, когда на какую-то ступеньку ногу надо поставить, а она ватная. Вот так во сне бывает: ты вроде готов побежать, а у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать — нет голоса.

Я помню чувство, когда нужно было переставлять ноги (это в то время, когда мама еще была жива, когда надо было выходить), когда надо было на ступеньку поставить, в какое-то мгновение нога у тебя не срабатывает, она тебе не подчиняется, ты можешь упасть. Но потом все-таки хватило сил, как-то поднималась».

Чтобы хоть как-то оценить труд ленинградцев, находившихся в подобном состоянии, чтобы постигнуть, что зна-

чило отремонтировать орудие, подняться на чердак для дежурства, что значило расчистить завал, для этого надо прежде всего понять протяженность и силу блокадного голода, протяженность его не только вширь, но и как бы в глубину человека. Надо понять, как сказывался голод на поведении человека, каким испытаниям подвергались и психика, и душа, и вера, причем не вообще человека, а конкретного, этого, потому что у каждого было свое, своя схватка с голодом, и протекала она по-разному. Только постигнув голод, представив его силу, изучив его масштабы, его действие, можно почувствовать сделанное ленинградцами. Без этого не понять истинной величины мужества защитников города.

Подробности голода проступают в рассказах порой неожиданно, из случайно оброненных пронзительных фраз, не сразу их можно и осознать.

Тамара Александровна Халтунен работала в больнице для дистрофиков, там, когда больного в ванну опускали, вспоминает она, больной криком кричал: «...голые кости, он не может ни сидеть, ни лежать, у него нет жира».

«— Три женщины было и я — девочка. Я самая молодая и сильная считалась. Я вроде ничего была, — начала свой рассказ врач-психиатр *Майя Яновна Бабич*.

— А сколько вам тогда было?

— Мне было тогда шестнадцать лет. Я брала их карточки, ходила в очередь, чтобы взять на всех хлеб, каждому отдельно. Я себя ловила на мысли: хоть бы маленький довесочек дали. Когда давали, я иногда от их порций довесочек съедала. Потом приходила, отдавала каждому его порцию. А эта крошечка мне как бы за работу. Иногда стоишь, стоишь — и ничего нет, потому что хлеба не было. Когда я приносила хлеба, они лежали на диванах, на кроватях в этой комнате. Были какие-то тулупы; все в валенках, под ватными одеялами. Все лежали. Коптилка стояла, горело какое-то масло, мерцало. И „буржуйка“ стояла. Рядом с „буржуйкой“ ведро с водой, которая к ночи замерзала до дна. А потом вставляли и топориком откалывали кусочки льда, чтобы вскипятить воду. По очереди вставляли. Пили бурду.

...Это было в начале января. Приходит на квартиру ко мне мой школьный приятель Толя. Это такой поэт был, витал в облаках, говорил о проблеме „быть или не быть?“. В школе он был таким мальчиком с возвышенными интересами. И вот приходит — лицо серо-зеленое такое. Глаза совсем вытаращенные, и говорит: „У тебя не сохранился твой кот?“ А у нас кот был. Я говорю: „Ну что ты! А что?“ — „А мы хотели бы его съесть!“ Мама и бабушка у него лежали. И вот он ушел. Он был такой ужасный, такой грязный, тощий. Ушел качаясь! А только год тому назад было совершенно по-другому. Собирались, о высоких материях разговаривали. И вдруг — кошка! Я хотела через неделю-другую пойти к нему (на другой улице они жили). Я сразу не пошла. Самое страшное было выйти из дому, бессознательно стремились оберегать себя от таких картин. Это как-то интуитивно было. Но я пошла все-таки в этот дом. Вот иду на второй этаж — двери не закрываются, входи куда угодно, в любую комнату заходи, бери что угодно. Это был шикарный дом — добротный, красивый. Дом одного бывшего миллионера. В мирное время на лестницах были ковры. Он жил в комнате в коммунальной квартире. Я захожу к нему в комнату. Темно, так чего-то брезжит. И они все трое лежат мертвые: бабушка, мать и он. В комнате страшная грязь. Холод. „Буржуйку“ топить, видно, сил не было. И все умерли. Мне было страшно. Я в другие комнаты не вошла и пошла обратно».

Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод...

Сами блокадники, вспоминая, отмечают разбитые окна, распиленную на дрова мебель — наиболее резкое, необычное. Но тогда по-настоящему вид квартиры поражал лишь детей и приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, с *Владимиром Яковлевичем Александровым*:

«— Вы стучите долго-долго — ничего не слышно. И у вас уже полное впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре окружающей среды,

появляется замотанное бог знает во что существо. Вы вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или чем-нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска.

— И даже если продукты?

— Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия аппетита».

...Там, на фронте, думали, что эти ложки пшена, сухари, которые сберегали, откладывали от своего скудного пайка, будут встречены с восторгом, а их принимали порой вот так, уже безразлично...

В конце войны *Алексея Дмитриевича Беззубова* откомандировали в Германию. Была организована Советская военная администрация в Германии (СВАГ), и Беззубова как широкообразованного пищевода, с большим опытом работы, назначили начальником научно-технического отдела пищевой промышленности. Ему пришлось ведать в Германии лабораториями университетов, научно-исследовательскими институтами, проектными организациями, поэтому неудивительно, что судьба свела его с таким крупным немецким специалистом, как профессор Цигельмайер. Рано или поздно это должно было произойти. Цигельмайер считался одним из ведущих ученых в области питания. Раньше он руководил Мюнхенским пищевым институтом. Итак, они встретились, разговорились, знатоки, казалось бы, одной из самых мирных наук. Что может быть более добрым, благородным, заботливым, чем наука о питании?

И тут по ходу беседы выясняется, что профессор Цигельмайер во время войны занимал высокую должность — заместитель интенданта гитлеровской армии. Поскольку специалист он был выдающийся, его привлекли курировать важнейшую для командования проблему — блокированного Ленинграда. Прямое наступление на город захлебнулось. Наши войска плотно держали изнутри блокадное кольцо, не давая нигде его переступить. Вот тогда гитлеровскому генеральному штабу и потребовались консультации Цигельмайера. Он обдумывал и советовал, что следует делать,

чтобы скорее уморить голодом Ленинград. Именно это имел в виду Геббельс, когда, немного кривя душой, записывал в своем дневнике 10 сентября 1941 года: «Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом».

Цигельмайер вычислял, сколько может продлиться блокада при существующем рационе, когда люди начнут умирать, как будет происходить умирание, в какие сроки они все вымрут.

«Цигельмайер рассказывал мне, что они точно знали, сколько у нас осталось продовольствия, знали, сколько людей в Ленинграде. Правда, он сделал ошибку, я потом ему сказал, что у нас положение было еще тяжелее: „Вы не учли, сколько с армией пришло населения из Ленинградской, Новгородской и других областей“. Цигельмайер изумлялся и все меня спрашивал: „Как же вы выдержали?! Как вы выдержали?! Как вы могли? Это совершенно невозможно! Я писал справку, что люди на таком пайке физически не могут жить. И поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо выпустать ни одного человека через фронт. Пускай их останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем в город совершенно свободно, не потеряем ни одного немецкого солдата“. Потом он говорил: „Я все-таки старый пищевик. Я не понимаю, что за чудо у вас там произошло?“»

Алексей Дмитриевич мог бы ему многое рассказать про свою работу. Витаминному институту, где он заведовал химико-технологическим отделением, горисполком поручил руководить изготовлением хвойной настойки, чтобы как-то предупредить авитаминоз среди населения. Решение было принято 18 ноября 1941 года. Подняты были даже архивные материалы двухвековой давности, когда Россия экспортировала хвою как лекарство от цинги. Нашли документы о том, как сосновой хвоей лечили цингу во время войны со шведами. Вместе со своими сотрудниками А. Д. Беззубов составил инструкцию, как делать антицинготную хвойную

настойку в промышленных условиях, как делать ее дома, как витаминизировать этой настойкой продукты. Как раз когда Цигельмайер приступил к изучению данных ему генштабом сведений, Беззубов учил, как измельчать хвойные иглы, как проводить их экстракцию, как фильтровать, расфасовывать настой. Тут же он изучал, как использовать в госпиталях и больницах проросший горох.

Спустя месяц, во второй половине декабря, Беззубов и оставшиеся в живых сотрудники института отправились проверять, как работают установки по изготовлению хвойных настоев. Они ходили по воинским частям, госпиталям, детским учреждениям, стационарам. На сорока шести фабриках работали эти установки и в шести научных учреждениях.

Для борьбы с обморожением они искали способы получения каротина.

В начале января 1942 года в городе начались заболевания пеллагрой. Надо было раздобыть никотиновую кислоту — витамин РР. На чердаках и в вентиляционных трубах табачных фабрик собирали табачную пыль. Из нее извлекали никотиновую кислоту.

Он мог бы рассказать Цигельмайеру, как учились лечить алиментарную дистрофию. Наиболее эффективными оказались препараты белковые и витаминные. Полноценным белком были казеин¹, дрожжи, альбумин. Беззубов помогал организовать доставку казеина в Ленинград. А еще раньше он сумел использовать остатки горелого сахара на Бадаевских складах. Знаменитый этот сахар, растопленный огнем, залитый водой пожарных брандспойтов, смешанный с землей, песком, — о нем столько нам рассказывали! — вот его-то извлекли десятки тонн. Это были глыбы черной сладкой земли; их Беззубов придумал промывать сверху водой и перерабатывать на кондитерской фабрике. До войны он работал главным инженером этой фабрики. Из черного этого творога, который долго еще продолжали копать ленинградцы на горелом пустыре, стали производить леден-

¹ Основной белковый компонент молока и молочных продуктов.

цовую карамель. По вкусу карамель напоминала известные дореволюционные леденцы — ландрин. Была такая популярная в России карамель с горчинкой.

Его отдел изучал, сколько каротина и витаминов содержат одуванчики, крапива, лебеда, что из них можно приготовить...

Ничего об этом Цигельмайер не знал. Да, собственно, вряд ли такого рода мелочи он принял бы во внимание. Будучи специалистом примерно того же профиля, что и Беззубов, он подсчитывал, сколько суток может просуществовать средний ленинградец без белков и жиров. Он вел глобальные подсчеты. Перед ним была задача, эксперимент, огромный эксперимент, поставленный на миллионах, единственный в своем роде. Чем больше населения, то есть испытуемых, тем меньше сказываются всякие аномалии, тем точнее должен быть результат.

Энергия не может возникать из ничего. Сто лет назад великий земляк этого Цигельмайера, врач Роберт Майер, вывел закон сохранения энергии. И Алексей Беззубов, и Цигельмайер изучали, как человеческий организм подчиняется этому закону, изучали для совершенно противоположных целей.

Чтобы обеспечить работу сердца, легких, всех органов, для этого необходимо снабжать организм топливом. Цигельмайер четко знал: тепло не может возникать из духа, из воли, из убеждений; как бы ни хотел человек согреться, организму нужны для этого не мысли, не вера, а калории, нужна пища, минимальное количество которой исчисляется двумя тысячами калорий в сутки.

Этих калорий у ленинградцев не было.

Не видя ожидаемого результата, Цигельмайер на всякий случай вводил еще всякие коэффициенты. Однако Ленинград по-прежнему держался. Цигельмайер сделал еще некоторые последние допущения, ему надо было спасти законы энергетики.

Жители этого города должны, обязаны были умереть, а они продолжали жить, они двигались, они даже работали, нарушая незыблемые законы науки.

Рацион ленинградцев был известен, температура воздуха, качество хлеба, — все, все было подсчитано, учтено: 125 граммов, 150 граммов, даже 250 граммов при отсутствии каких-либо других продуктов не могли обеспечить физиологического существования организма в условиях такого холода.

Цигельмайер не понимал, в чем он просчитался. Он не мог объяснить генеральному штабу, почему его расчеты не оправдываются.

Теперь он расспрашивал об этом господина советского профессора. Но и Алексей Дмитриевич не мог до конца объяснить этого феномена. Он разговаривал с Цигельмайером, ученым — специалистом по питанию, который «консультировал» голод, — вполне учтиво, придушив свои чувства. Он говорил о неучтенной вере в победу, о духовных резервах организма ленинградцев.

Но, откровенно говоря, ему и самому было не все ясно. Он все пережил, все видел сам, и тем не менее при всем огромном опыте не до конца понимал, откуда брались силы у людей...

...Этого убийцу-«невидимку» вначале не считали самым опасным. Убивали — куда заметнее для всех — другие: бомбы, снаряды. Да и вообще август-сентябрь-октябрь были и без того тревожными до крайности: ожидался со дня на день новый штурм. Враг у ворот! — это кричало в душе ленинградцев, заглушая другие тревоги.

В дом к вам приходят моряки, солдаты и, отодвинув подальше детскую кроватку, закладывают кирпичом окно, делая из него амбразуру, — и вы им помогаете! Танки врага — в четырех километрах от Кировского завода...

О союзнике врага¹, который через месяц-полтора станет самым главным и страшным убийцей ленинградцев, — о го-

¹ «Положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник — голод», — записывал Ф. Гальдер, начальник немецкого генштаба. (Ф. Г а л ь д е р. Военный дневник. Т. 3. Кн. 1. М.: Воениздат, 1971. С. 360.)

лоде мысль хотя и беспокоила, тоскливо сосала, но все еще не казалась столь опасной.

Вот рассказ *Галины Иосифовны Петровой* (Набережная Фонтанки, 39):

«— Довольно быстро ввели карточную систему. Я помню, что мы даже не выбирали ту норму продуктов, которые нам давали.

— Вначале?

— Да. Вначале выбирали весь хлеб, смотрим — стал хлеб дома оставаться; булки были, батоны. Потом уже вспоминали, что вот тогда давали хлеб, а мы не брали, а можно было брать и сушить сухари. А сначала не придавали никакого значения. У меня здесь были папа, мама, сестра и я. Сестра вышла замуж, и в августе они уехали в Сочи, мы с папой и мамой здесь оставались.

— В этом же доме?

— Нет, мы жили тогда на улице Гоголя, семнадцать, в том доме, где жил когда-то Гоголь».

Цепко держалась иллюзия (причем одновременно с ожиданием самого худшего), что скоро каким-то чудесным образом «все станет на место». Психологическое состояние не о ж и д а н н о с т и растянулось на месяцы. Хотя, казалось бы, это состояние моментальное.

Неожиданность — длилась.

На такую «психологию» первых месяцев войны обращает внимание в своем рассказе ученый-математик *Евгений Сергеевич Ляпин* (Московский проспект, д. 208).

«— Это был август?

— Август — начало сентября. Насчет того, что кто специально распространял слухи, я не знаю, не приходилось слышать. Думаю, что люди сами себя старались „успокоить“. В частности, был в то время такой неправдоподобный слух: стрельба в городе слышна потому будто, что неприятель выбросил десант, они спрятались где-то на кладбище и вот из минометов стреляют по городу, для того чтобы вызвать панику. Такие представления характерны для того момента. Люди никак не могли освоить всего, что реально происходило. Опыта не было. Тем более что были

еще в памяти описания войны на Западе, всякие там фокусы, воздушные десанты во Франции и Бельгии. Вот в таком духе и здесь ожидали. Потом все оказалось не так. Никто на кладбище не сидел, никто из минометов по нам не стрелял, просто фронт продвинулся ближе к нам, и дальнобойная артиллерия могла стрелять на расстоянии восемьдесят километров. Я не помню уже точно числа, но это было за Московским вокзалом. И не два-три раза выстрел в день ухнет, а был непрерывный артиллерийский огонь, бой, который велся в двадцати километрах от Ленинграда, в Павловске. Все стало понятно. Мы уже знали, что фронт продвинулся к Ленинграду, подошел неприятель, бой происходит у самого города, и, очевидно, с этим связана и судьба города. Тем не менее налетов на город больших не было. Даже отдельные выстрелы к этому времени прекратились. В общем, хотели взять нас паникой, а паники не получилось.

Что нам предстояло впереди? Это стало ясно, по-моему, если не ошибаюсь, седьмого или восьмого сентября, когда вечером была объявлена очередная тревога. Тревог уже было много, мы несерьезно к ним относились. Я выглянул из окна (я жил тогда в районе Варшавского вокзала). Мы услышали сперва, что зенитки стреляют особенно рьяно и усиленно. А взглянув на небо, я увидел необычную вещь: шли не отдельные самолеты, которые где-то высоко летят маленькими точками и их даже рассмотреть нельзя. Нет, движется в определенном, явно рассчитанном, сложном порядке большая масса самолетов. Построены они так, чтобы движение их казалось грозным. И оно действительно было грозным. Вокруг них рвутся снаряды, видны разрывы зенитной артиллерии. А они движутся ровно: не петляют, не делают разных сложных фигур, как делали самолеты в августе. И даже если кто-то из них валился в клубах дыма и уходил книзу, остальные продолжали свое движение. Ясно было видно, что это не случайный налет, а это массовый налет. Прошла одна волна, прошла вторая волна, третья волна. Что-то происходит, это было ясно. Вдруг, посмотрев в южном направлении, я увидел растущее большое облако дыма. Такое было в первый раз. Облако разрасталось все

выше и выше, достигая десятков, сотен метров. Стало ясно: это результаты появления вражеской авиации. И нам все это потом дорого обошлось.

Тогда еще мы о голоде не знали, не думали совершенно. Снабжение по карточкам было хорошее: хлеба давали столько, что съесть его было совершенно невозможно (шестьсот или восемьсот граммов — кто из ленинградцев съедал столько хлеба за один день?). Так что эта сторона оставалась без внимания. Но, забегая вперед, скажу, что как раз поражение и, в общем, уничтожение этого склада — оно стоило жизни многим жителям».

Уточнить эти факты, оценить их последствия — дело историков. Мы изучали не исторические документы, мы вслушивались в рассказы живых людей. Между нами и прошлым была людская память, шаткий мост, источенный временем. У одних их прошлое сохранилось в голове, у других оно заместились вычитанным из книг, виденным в фильмах, и они сами не заметили, как это произошло. Сдвинулись даты. Первая бомбежка Ленинграда была 6 сентября 1941 года; через день, 8 сентября, произошел второй налет, во время которого разбомбили Бадаевские склады. Две эти даты у многих слились в одну, и получилось, что Бадаевские склады сгорели в первую же бомбежку. Таких ошибок много.

Мы выясняли не историческую картину, а скорее состояние людей того времени. И в этом смысле было важно знать, что именно каждому запомнилось из тех лет. Что врезалось в душу, что осталось от блокадной жизни навечно в душе, в сознании, что из пережитого постоянно сосуществует с человеком.

НАЕМНЫЙ УБИЙЦА

Голод был уже рядом, в городе.

Ужесточались продуктовые нормы, город собирал все, что можно было собрать, сохранить, пустить в дело. Пошли в ход всякие «заменители» — на хлебозаводах, в столовых.

И каждый сам стал оглядываться, искать: что и где съедобного осталось, что можно использовать?

Голод только еще нащупывал глотку своих жертв, но всем уже становилось тревожно, неудобно: убийца где-то рядом... Вот как рассказывают об этом времени сами ленинградцы.

Художник *Иван Андреевич Коротков*:

«— Постепенно голод стал поджимать. Что я предпринял? Какие меры? Я стал обходить квартиры всех эвакуированных друзей. Прежде всего к Тае Григорьевне. Не помню, как попал (рядом соседка, кажется, жила). Я вошел, перерыл все шкафы, всякие сухарики, зацветшие, зеленые, подобрал, еще что-то такое. В общем, я такой мешочек набрал. Был крайне доволен, что получил довольно хорошую порцию чего-то. Еще к кому-то я пошел в квартиру, тоже по всем шкафам собирал все кусочки засохшие, которые остались. Потом мне один мой студент принес жмых — вот такие листы. Принес три листа. Это была колоссальнейшая вещь — три листа жмыха!

— А какой тогда месяц был?

— Октябрь и ноябрь, холода, когда уже ничего не стало. Потом дома нашел немножко муки. Потом у меня оказался клей рыбный для грунтовок и несколько бутылочек масла льняного на окне... Каким-то образом я почувствовал, что дело скверно. Я не стал очень-то налегать, а все это плавно распределял».

Бывший работник радио *Нил Николаевич Беляев*:

«— Что характерно было для тех месяцев, когда началась голодовка? Это — сразу же воспользоваться всем, что можно есть. Что к этому относилось? Это вот дуранда — жмых подсолнечный, который можно было кусочками на рынке приобрести. Маленький кусочек, плиточку жмыха можно было за тридцать рублей купить. Цена тридцать рублей почему-то держалась на этот жмых несколько месяцев, пока он не кончился. Квадратный дециметр шкуры животного, с коровы или с лошади (из нее можно было

сварить студень), плитки столярного клея — эти вещи на рынке покупались, и приблизительно каждая из них рублей по тридцать стоила. Если студень сварить из маленького кусочка кожи, он не получится достаточно хороший, плотный, а если сюда добавить столярный клей, то сварится, получится хороший, крутой. Есть, конечно, весьма отвратно было, но приправишь горчицей, перцем, уксусом, который выдавался регулярно по карточкам (собственно, только это регулярно и выдавалось), и кое-как ешь, и можно было как-то существовать. Но в сорок втором году этого уже ничего нельзя было достать, ни жмыха, ни клея. Это все пропало. Так что оставалось, как полярным путешественникам из рассказов об Амундсене или Нансене, переходить на ремни. Но это дело нехорошее получалось. Потому что тогда, у тех путешественников, ремни были сыромятные. Это сыромятная кожа, не выделанная химически, не прошедшая, так сказать, обработку. А ремень — что? Ничего! Его вот изрежешь, искрошишь, попытаешься сварить, варишь-варишь — он не разваривается. А если и разварится, съешь это все, то, как говорится, никакой радости от этого нет, ничего нет».

Все самое, казалось, немыслимое голодный пытался «утилизировать». Особенно наивно-беспомощную изобретательность проявляли ребята-ремесленники. Они (по многим рассказам) умирали едва ли не первыми: одни, без родных-близких, что получают, съедят зараз, проедали одежду, обувь.

По мнению опытных блокадников, более сдержанных, излишняя изобретательность тут пагубна. Часто она убивала человека еще до того, как завершал свое дело голод. Но, даже зная это, люди не могли удержаться: голод не тетка!..

Рассказывает *Зоя Алексеевна Берникович*, работник Эрмитажа:

«— Конечно, все приходилось есть: и ремни я ела, и клей я ела, и олифу: жарила на ней хлеб. Потом нам сказали,

что из горчицы очень вкусные блины. За горчицей какая была очередь!

— Что же, из одной горчицы?

— Надо было уметь делать. Я две пачки положила (взяла-то пятнадцать пачек, думала, запас будет, может, жить буду). Вот надо ее мочить семь дней, сливать воду и опять наливать, чтобы горечь вся вышла. Ну, конечно, я спекла блинчики, два. Съела один, и потом я стала кричать как сумасшедшая. У меня были такие рези! Очень многие умерли. Все-таки это горчица; говорят, съела кишки. Когда вызвали ко мне врача, он спрашивает: „Сколько вы съели блинчиков?“ — „Только один“. — „Ваше счастье, что вы съели мало. Ваше счастье!“ Вот так я осталась жива... Ландрин покупали, пили сладкий чай; сахарин иногда можно было достать. Правда, весной уже был огород. Я была очень счастлива, что мой огород никто не трогал. Я ела, знаете, какую траву? Лебеду и мать-и-мачеху, может быть, знаете такую? Как принесу полный мешок, у меня была такая большая бутылка, я туда натрамбую, насолю и с солью ем».

Про «бадаевскую», про «сладкую» землю рассказывают многие. Ее продавали на рынках наравне с другими продуктами. Качество (и цена) «бадаевского продукта» зависело от того, какой это слой земли — верхний или нижний. *Валентина Степановна Мороз* (библиотекарь) и сейчас помнит вкус ее:

«— Потом еще такая деталь запомнилась: когда разбомбили Бадаевские склады, мы бегали туда, или, вернее, добредали. И вот земля. У меня остался вкус земли, то есть до сих пор впечатление, что я ела жирный творог. Это черная земля. То ли в самом деле она была промаслена?

— Сладость чувствовалась?

— Даже не сладость, а что-то такое жирное, может быть, там масло и было. Впечатление, что земля эта была очень вкусной, такой жирной по-настоящему!

— Как готовили эту землю?

— Никак не готовили. Просто по маленькому кусочку заглывали и кипятком запивали».

В перечне блокадной еды всякое можно найти — конопляные зерна от птичьего корма, и самих канареек, и дроздов, и попугаев, собирали мучной клей от обоев, извлекали его из переплетов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, ворон, потребляли всякого рода технические масла, использовали олифу, лекарства, специи, вазелин, глицерин, всевозможные отходы растительного сырья. Список этот длинный, удивительный по своей изобретательности, даже по изощренности, с какой испытывалось на съедобность все окружающее. Например, одна женщина разрезала, варила и съела шубу из сусликового меха (из рассказа *Степанчук М.Г.*).

Есть народы, у которых принято потреблять в пищу, допустим, собак, или змей, или лягушек. Для ленинградца преодолеть эти «предрассудки», все свое воспитание было делом нелегким, и многим оказывалось не под силу.

И даже в буквальном смысле... «землю ели»...

Александра Михайловна Арсеньева, автор печатных воспоминаний о комсомольском полке противовоздушной обороны Ленинграда, рассказала нам:

«— Я пошла на семинар в райисполком и попала под бомбежку под аркой — побили мне позвонки, в общем, не сломали, но большие синяки были, и я уже не могла двигаться. Без сознания меня принесли в ремесленное училище какое-то, в первый этаж. И вот там я, лежа и чувствуя, что я уже не вернусь к жизни, не встану, смотрела на мальчишек — тощих, с сумками из-под противогазов. И в сумках у них земля — они продают, меняют на хлеб землю! Подходит ко мне мальчишка и говорит: „Тетенька! Вы хлеб не едите? (А я хлеб уже не ела, у меня открылся кровавый понос, и я ничего не ела.) Поменяйте на землю. Это очень вкусно!“ — „Как же, говорю, землю есть?“

— Это с Бадаевских складов земля?

— Это торф, даже не сладкий, а просто торф, поскольку торф считается питательной землей. И вот землю — на хлеб. За кусочек хлеба он дает тебе две кружки земли. Я эту землю взяла, только чтобы попробовать, а хлеб отда-

ла. Отдала им и карточки свои. Мальчишки честные были, они мне приносили хлеб».

Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл — хлеб насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека.

Блокадница *Таисия Васильевна Мещанкина* о хлебе говорит, будто молитву новую слагает:

«Вы меня послушайте. Вот сейчас, когда я встаю, я беру кусок хлеба и говорю: помяни, Господи, всех умерших с голоду, которые не дождались досытья поесть хлеба.

А я сказала себе: когда у меня будет хлеб оставаться, я буду самый богатейший человек.

Вот с этого я начинаю утро, только с этого. Я не вру. Пью чаю две чашки крепкого, и это богатство.

Когда умирал человек и ты к нему подходил, он ничего не просил — ни масла, ни апельсина, ничего не просил. Он только тебе говорил: дай крошечку хлеба! И умирал!..

Я осталась, я не знаю, почему я, такая, осталась. Я не знаю почему. Я малограмотная.

У меня детство было тяжелое, отец и мать до революции умерли. Ну почему я осталась? Может быть, для этого осталась, чтобы рассказать какую-то там историю интересную?»

Массовый голод — это тихие смерти: сидел и незаметно уснул, шел — остановился, присел... Многие наблюдали, запомнили жуткую «тихость» голодных смертей.

«Я шла с работы, и вот (угол проспекта Газа и Огородникова) женщина одна идет и говорит мне: „Девушка! Ради бога, помогите мне!“ Я мимо шла, говорю: „Чем я могу вам помочь?“ — „Ну, доведите меня до этого забора“. Я довела ее до этого забора. Она постояла, потом опустила и села. Я говорю: „Чем вам помочь?“ Смотрю, она уже и глаза закрыла. Умерла!» (*Никитина Елена Михайловна*).

Об этом же — *Людмила Алексеевна Мандрыкина* (Невский проспект, 137).

«— Ну, что вам еще сказать? Вот у нас в военном архиве всегда сидела милиция. И такие замечательные парни

были — милиционеры, чудесные, молодые были все. Это те, которые были призваны на войну и оставались здесь в милиции. В милиции кормили очень плохо, так же как и в МПВО. Вот я часто с ними разговаривала, ну, просто говорили о том, что пройдет же это время, что будет потом? Мы старались не говорить об еде. И вдруг, ты смотришь на человека и видишь, что у него стекленеют глаза. Я теперь знаю, что это такое...

— Прямо во время разговора?

— Вот прямо во время разговора. Он сидит... садится, говорит: „Ой! Мне что-то не очень!“ — „Ну, посиди! Всем не очень хорошо...“

Вот двое так умерло на моих глазах. Потом он все медленнее говорит, медленнее...

Вот так умирали люди. Так они умирали и на улице. Когда они шли, кто-то садился на тротуар. Сначала к нему подходили, первое время, а потом его просто обходили, и он часто вмерзал в струйку вот этой воды, которая шла...» Такие рассказы повторяются и варьируются до бесконечности — про тихий, незаметный переход за край голода, — а иные приобретают жуткий образный смысл.

«— Потом вдруг он ко мне обращается и говорит: „Марья Андреевна! Сядьте со мной рядом. Я вам отдам партийный билет. Посидите со мной рядом“. Села с ним рядом, значит. Я говорю: „Где у тебя семья?“ — „Она эвакуирована. Не знаю, мне ничего не пишут“. (Ну, где там писать. Может, и пишут, да не попадает.) И вы знаете, он меня обхватил за шею-то, то ли он хотел поцеловать, то ли что. И он умер! Вы представляете — у мертвого как зацепляются руки? Я никак не могу выбраться оттуда, ничего не могу сделать. А Женя Савич и еще там пришли. Ну, что — они тоже не могут. Ну, еле-еле вытащила голову от него...» (Из рассказа *Сюткиной Марии Андреевны*, бывшего парторга цеха Кировского завода).

Надо было ходить на завод, надо было работать, хотя и просто идти по улице для ленинградца порой было не по силам.

«— Потом я еще очень хорошо помню, как люди шли. Никогда я и нигде не видела и не слышала, чтобы человек

шел так, как в блокаду: человек шел так, как против ветра идут, понимаете, вот наклонившись всем корпусом вперед, чтобы не упасть, тяжело вот так переставляя ноги! Почти все так ходили. Не знаю, почему мне запомнилась эта походка.

— А сами вы ловили себя на том, как вы идете? Или на это уже не обращали внимания?

— Может быть, я тоже так ходила, я сейчас не помню. Только вот мне запомнилась эта походка. Моя ли это была или окружающих? Не помню. Мне кажется, что все так ходили...» (*Григорович Александра Дмитриевна*).

«Вы знаете, и на меня это производило впечатление тоже: идешь это шаркающей походкой, еле ноги переставляешь; и люди вокруг тебя ходят, где-нибудь у него привешен портфель, потому что в руках ему трудно нести, и поэтому его привязал сюда, на шею. И все как в замедленной киносъемке.

Вот меня две вещи поразили: это картина — человек, который читает объявления, а от руки у него веревка к фанере с покойником. И еще один раз, тоже из одного из самых глухих мест я возвращался — из Института экспериментальной медицины, — поздним вечером по улице Павлова. И сзади меня шла какая-то группочка людей. Я даже не обратил бы внимания, но я вздрогнул и оборотился, когда услышал хохот. Произошло что-то совершенно неукладывающееся: оказывается, что какие-то девчонки и кто-то на что-то расхохотался...» (*Александров Владимир Яковлевич*).

Голод изменял людей не только физически — он менял характер, привычки, он искажал у некоторых людей весь их душевный облик.

«— Чем мне удалось поддержать своих сотрудников? — вспоминает *Зинаида Александровна Игнатович* (Средний проспект, д. 35). — Перед войной мы занимались в лаборатории пищевыми отравлениями, которые вызывались бактериями. Для того чтобы выращивать бактерии, варится особая среда. Она варится на мясном бульоне. Ленинградский мясокомбинат готовил нам такую среду, такой концентри-

рованный бульон, готовил его из нетелей. А что это такое? Это когда забивали коров и в утробе у них находили плод. И вот из этих плодов они готовили экстракт Либиха и сушили его. У нас был большой запас его. Это спасло многих сотрудников. Когда начался голод, я, как заместитель начальника по научной части, когда приходила, вынимала одну банку, вокруг садились сотрудники, и я давала по столовой ложке мясного экстракта. Его можно было так есть. Тут я хочу вспомнить случай, который до сих пор волнует меня. У нас был в институте сотрудник, культурнейший человек. Он был крупный и здоровый мужчина. И он очень быстро сдал. Когда я утром раздавала этот мясной бульон, он уже первым сидел за столом. И такими горящими глазами провожал он эту ложку! Чувствовалось, что все его помыслы сосредоточены на ней. Очень трудно было представить, что это он же — такой деликатный, такой умница, такой замечательный человек!

Когда начали открываться так называемые стационары, нам удалось поместить его в стационар. Но врачи тогда еще не знали, что нельзя сразу после голода давать много пищи. Ему дали двести граммов масла, полбуханки хлеба. Он съел все сразу и ночью умер.

— Неужели врачи не знали?

— Первое время не знали. Потом они уже знали, что человека надо постепенно выводить из голодного состояния».

В той же маленькой лаборатории были другие люди, которые жили эти месяцы и умирали по-другому.

«У нас был такой Соловьев, сидел в вестибюле. Он простой человек, даже не очень хорошо грамотный. Сыновья у него пошли на фронт. Дочка с ним одна осталась (жена умерла перед войной). Потом зятя его призвали в армию, и дочка пошла с ним на фронт. Он у нас был дежурным сторожем, что ли, потому что к нам в лабораторию, поскольку лаборатория была пищевая, приносили анализы и днем и ночью. И он сидел в вестибюле, не топившемся, холодном. Человек этот был малограмотный, но убежденный, всем малодушным он говорил: „Да неужели мы Ленинград отдадим? Мы никогда не отдадим“. А сам затягивал пояс

туже и туже, худел и худел. Принимал анализы, выполнял свои обязанности и всех ободрял: „Подождите еще немножко! Отстоят Ленинград. И все мы будем живы“. И вот однажды сотрудники пришли: что-то Соловьева не видать? А он как сидел на своем посту на табуретке, так и умер. Так и умер, крепко веря в обязательную победу, в то, что Ленинград обязательно освободят».

З. А. Игнатович не сравнивала. Она ни словом, ни тоном, ничем не осуждала память первого сотрудника. Люди понимали, что голод может перебороть человека, каждый на себе ощущал его всеокрушающую силу и втайне боялся — сегодня устоял, а завтра может не хватить воли и что-то хрустнет, сломается...

«Я перенесла всю блокаду. Хуже всего — это голод, — утверждает Лидия Сергеевна Усова, которая была тогда рабочей. — Это страшнее всего. Наш завод каждый день обстреливался. Но мы не шли в бомбоубежище: совершенно перестали этого бояться. Первое, что мы делали, это хватали кусок хлеба и запихивали в рот; не дай бог, если тебя убьют, а он останется! Понимаете? Вот какая психика была. А потом ты в ужасе: ты все съела, а бомбежка кончилась! Это был сорок второй год. Это был самый ужасный год!.. Помню, когда умирала мама, я ей давала сахар по куточкам, и она все говорила: добренькая, добренькая! А с сестрой поделиться я уже не могла. Она была в больнице, я несла ей что-то, но по дороге начинался обстрел, и я все съедала, я не могла ей донести. Тут я уже была в таком состоянии, я уже ни о чем не могла думать, как только о еде. Понимаете? Это совершенно ужасно».

Лидия Сергеевна беспощадна к себе. Она из тех людей, у кого через эту беспощадность видна живая совесть, никакими лукавыми поблажками времени не успокоенная.

То и дело в рассказе о своей работе она возвращается к воспоминаниям о голоде, к ощущениям, очевидно неизгладимым.

«— Работала я в Пятом ПМТ. Затем нас перевели на завод „Красная заря“, куда ходить было очень далеко. На заводе мы занимались расчисткой. Было очень тяжело, ког-

да мы на снегу работали. Я упала. Меня перенесли в приемный покой больницы. И когда я приходила в себя, то слышала: ну, ну, здесь полный упадок сердечной деятельности. Вероятно, тогда мне сделали укол. Когда я открыла глаза, мне дали кипятку и опять отправили на работу. Все-таки я была живучая. Может быть, даже то, что меня отправили опять на работу, это и нужно было, потому что тот, кто ложился, тот не вставал.

— А знали тогда уже, что тот, кто ложился, тот не вставал? Или это уже потом, задним числом?

— Нет, мы еще тогда ничего не понимали. Я скажу так: у меня все мысли были направлены только на еду. Это было совершенное помешательство. В сорок втором году я уже не могла донести паек из магазина до дома: если там был сырой горох, я его съедала на улице... Так прошла зима сорок второго года, и наступила весна. У меня вид был ужасный. Я очень сильно отекала. Я была невероятно худая: при моем росте у меня был вес сорок два килограмма (я взвешивалась в больнице, это интересно было). Ноги были как тумбы, вот такое опухшее лицо, глаза — щелки. Ужасный вид был. И вот здесь нас начали пропускать через усиленное питание. Оно было абсолютно правильно организовано: нас кормили четыре раза в день небольшими порциями, давали полноценные продукты, но мы даже плакали. Нам казалось, что нас ограбили: у нас отобрали карточки и дают очень мало. Это, конечно, психоз был, безусловно. Столовая была на углу Невского и Владимирского, где сейчас ресторан „Москва“. Было просто ужасно: придешь — и дадут тебе маленькое блюдечко каши. Ужасно хотелось больше. И здесь я помню, как я сидела в садике и смотрела на прыгающих воробьев, и у меня были совершенно кошачьи инстинкты: вот поймать этого воробья и сварить из него суп!

...Было усиленное питание, и была травка, которую мы стали есть.

Я по утрам — часа в четыре — вставала и шла на всякие свалки собирать крапиву. И если удавалось набрать носовой платок крапивы, это было счастье! Ну, затем я в Таврический сад ходила, где трава была по пояс. Я просто на

вкус пробовала. Это лебеда была, конечно. Я еще поражалась: зачем это люди едят редиску, когда можно есть лебеду, это гораздо вкуснее. Вот этой травой мы дополняли тот паек-кашку, которую получали».

Встретились мы с рабочей семьей *Васильевых* — *Никандром Ивановичем* и *Зоей Ефимовной* (проспект Металлистов, д.105), записали их рассказы. Муж работал мастером на Металлическом заводе, жена дома спасала детей. Вот ее рассказ об этом:

«— У меня было эвакуационное удостоверение, в Омскую область нас эвакуировали с завода. Многие женщины поехали, я тоже собралась, думала, что я здесь буду делать, детей ведь некуда деть. А мне говорят: „Как ты поедешь? Кто у тебя там есть?“ Я говорю: „Да никого у меня нет, все в Ленинграде“. Тут я подумала-подумала: куда же я с двумя такими малышами поеду? Нас там никто не ждет. И решила, что не поеду, и все! Все распаковала! И осталась! Ну, потом начались обстрелы, еще голода мы не знали. И обстрелы на нас так подействовали, и мы так смотрели, что лучше бы нам голодать, только не такие обстрелы страшные, потому что рабочий район, здесь заводы кругом. И ведь они по ночам бомбили, и обстрелы производили, и спускали ракеты осветительные как бы на зонтиках таких. Потом продуктами перестали обеспечивать. Дочка долго в карточки играла, обрезала талончики.

— Это после войны? Ненужные?

— Да, ведь остались неотоваренные карточки. Я уходила в три часа ночи и становилась в очередь за продуктами. Да пальто, еще сверху веревкой завяжешься или кушаком, чтобы поплотнее, потому что уже кожа да кости были. Муж всегда с утра на работу шел, на завод. А я вот эту, старшую, оставляла с грудной малышкой. Она переберется на нашу кровать и смотрит: мокрая — так подстелет ей. А я в очереди за продуктами. И стоишь иногда зря — ничего не получишь, придешь домой пустая. Единственное, что помогло нам выжить, — это огороды. Где теперь шоссе Революции, застроенное домами, тогда там поля были. Дали нам две сотки земли. Прислали семена. Там были

и морковь, и репа, и брюква, и турнепс. Такие пакеты были защитного цвета, маленькие, плотно так заклеенные. Нам раздавали семена. А потом, как стали мы огороды эти копать, нам дали верхушки — срезы картофеля, на заводе раздали по полтора килограмма, как сейчас помню.

— Глазкí?

— Да, глазкí, верхушечки. Ну вот, мы три килограмма получили и посадили. Картофель был чудесный — прямо вот такие картошины, красные, рассыпчатые. И мы рады были этим овощам. И капусты очень много. Вначале, когда я собралась эвакуироваться, мне дали сухого молока на дорогу. Ну вот, я первое время маленькой немножко добавляла. Да и еще сами пока получали продукты, так что хватало. А потом, когда уже совсем голодно стало, она у меня похудела очень. Но она такая румяная была на лицо. У мужа и мать, лет восемьдесят ей было, а она все румяная — такой цвет лица... Как-то несколько дней хлебозаводы, пекарни не пекли хлеб. Ну и давали муку. Я эту муку вместо хлеба получила и наварила такую болтушку, ну просто две ложки муки на кастрюлю воды и подсолила. Вот этой муки горячее, что называется, похлебали по-русски. А дочке погуще кашу сварила. Ночью я слышу — рвота у нее поднялась. Мы с девочкой старшей на плите спали. Муж на столах, два или три стола было на кухне. А для маленькой внесли стулья на кухню, и она лежала здесь. Я скорей вскочила, коптилку зажгла. Смотрю — ее вырвало и желудок расстроился. После этого я пошла в консультацию и говорю: „Нечем кормить ребенка, хоть что-нибудь выпишите!“ Врач говорит: „У нас ничего нет, мы не выписываем“. Я говорю: „Вы посмотрите на нее!“ А она: „Да нет, румяный ребенок!“ — „Вы не смотрите на лицо, у нее же руки, ноги как плети!“ — „Не разворачивайте, у нас здесь холодно. И нету у нас ничего“. Так мне и отказали. Ну, она вскоре, конечно, и умерла, потому что уже кормить совсем нечем было, ни круп, ни масла, ничего мы в это время не получали.

...А когда бомбили, вы знаете, как бомба упадет, дома вот так и качаются. Я ведь в убежище ни разу не была.

Думала — если убьют, то все равно, в подвале или здесь. Иногда приготовишь сумку, держала там кое-что, водички чтобы попить, пеленку держала (это малышке). Мы обычно в передней садились — я и еще из другой комнаты женщина с ребенком. Сидели с сумками и сидим в середине, чтобы стекла не полетели на нас. И вот когда меня в госпиталь положили, старшая девочка осталась дома. Я там больше месяца лежала. Ну, он утром дочку покормит и идет на завод. В обед прибежит и еще подогреет что-нибудь, тут близко было. А потом я пришла из больницы. Тогда вот и дали участок на огороде. Он меня свел туда и говорит: вот, копай. А я стою. Ветер был сильный, как дунет — я падаю. Сесть не на что — кругом мокрая земля...»

Сначала видели только убитых бомбами, снарядами. Потом стали появляться убитые голодом. Их какое-то время не то что не замечали — боялись понять до конца, что это означает, что надвигается на город.

Галина Иосифовна Петрова училась в мединституте, и она в числе первых увидела умерших от алиментарной дистрофии. Но, увидев труп на улице, она, без двух дней врач, испугалась, как девчонка, — не мертвого человека, а массового голода, который вдруг разглядела...

Человек уже видит. Но видеть ему не хочется. Не хочет принимать.

Художник *Иван Андреевич Коротков* хорошо запомнил эту вот беспомощную хитрость человеческого сознания, для которого правда слишком ужасна.

«— Я стою в очереди за хлебом в булочной. Там горит светильничек такой, и по карточкам нам дают мокрый кусочек. Я чувствую, что я зацепляюсь за что-то и перешагиваю. У меня нет сознания, что это человек. Я думаю: кто это там мешок какой-то бросил? Никак не мог понять, что вообще происходит. Я перешагнул, и другие идут. Когда я вышел, только тогда до меня дошло, что мы ходили по человеку, который тут упал! Шагали через него, и никто, так сказать, не осознал этого. Вот это какое страшное состояние!

— А продавцы хлеба охранялись?

— Не знаю, может быть, какая-нибудь тайная охрана и была. Как-то об этом никто и не думал, и у меня никаких особых мыслей не было. И вот такие непонятные вещи: я все время где-то ошибался. Вот у жены, Лины Осиповны, сестра была — Мария Осиповна. У нее в одну ночь умерли муж и сын от голода. Каким-то образом меня известили об этом. Я пришел к ним. У них еще был один сын, который служил в это время в госпитале политруком, потому что у него был только один глаз (другой потерял на войне). Ему где-то сделали пару гробов (в то время это была редкая вещь), дали лошадь; и вот мы поставили два гроба на какие-то деревенские розвальни, привязали, сели на эти гробы и поехали с ним на кладбище. Я как сейчас помню это место на Малой Посадской. Хороший такой дом на углу. Они в этом доме и жили, Малая Посадская, десять. Балконы там такие. Я как сейчас помню, как Мария Осиповна стоит внизу, а мы уезжаем на этих гробах.

Ну вот, мы поехали. Поехали мы на Серафимовское кладбище. И по дороге все везут, значит, на санках. Кто-то попросился, чтобы мы привязали санки к розвальням, а его посадили с собой. Одного посадили, другого. Потом у нас уже трое санок сзади и сидят еще трое. И тихонько мы едем на Серафимовское кладбище. Приезжаем на кладбище. Там работает экскаватор, роет траншеи. В это время, я вижу, где-то вдаль проходит машина. Как-то в то время до сознания не доходило. Потом только дошло, что это в траншеи возят мертвых и зарывают, и машины все подходят, потому что они собирают по городу всех кто где лежит, привозят и хоронят. В то время недопонимание у меня было или я так был настроен, чтобы не поддаваться, — я не воспринимал этого».

Дмитрий Михайлович Смирнов был тогда еще подростком. Но он хорошо помнит и все, что было, и чувства свои.

«— Они в декабре месяце еще не лежали и в январе месяце еще не лежали, в начале. Они стали лежать в конце января месяца. Еще в январе месяце их возили даже в гробах. Потом уже без гробов, а потом уже было, через ка-

кой-то период, что в основном они, как я вспоминаю, лежали на улицах как-то зашитые, как-то обернутые...

— В простыни?

— Да... Везут много покойников. Что значит много? Если по пути встретишь от одного конца Большого проспекта до другого три, четыре, пять покойников... На саночках, в большинстве случаев на саночках, потому что снег уже был. Некоторые везли на спаренных саночках. Чаще всего женщины тащили. И у меня мать чуть не умерла. Она работала в аптеке, и, может быть, это ее спасло. У нее начался фурункулез, на шее были страшные нарывы. Потом, некоторые не верят, а хвоя очень помогала ей, мы пили хвойную настойку. Большое потрясение было у меня, когда я однажды видел (это и сейчас перед глазами у меня) где-то на Большом проспекте — не то там было ремесленное училище, не то ФЗУ, не знаю что, может быть, там был пункт, куда свозили трупы. И вот уже весенний день (весенний, потому что уже снега не было), и идет машина, и на ней трупы лежат. Это такое, такое... Я и сейчас вижу то место, где идет эта машина, как она идет. И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу... Причем почему-то, знаете, это была довоенная трехтонка, знаете, с такой большой кабиной? Не видели таких? Но мысль: почему, почему не эвакуировались, почему не уехали? Можно было, как говорится, пешком уйти. В конце концов потом был организован конвейер перевозной по Дороге жизни: туда людей, обратно продукты, туда людей, обратно продукты».

Очень точно выразил этот рассказчик безжалостную силу «блокадной памяти»: «И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу».

А вот как видели люди друг друга, когда собирались вместе:

«— Университет не топили, воду не выключили, водяное отопление замерзло, трубы лопнули, раз трубы разрывает, потом вода течет. И наши аудитории к концу ноября превратились в такие ледяные пещеры-глетчеры, где замерзшая вода по стенам, по потолку висела в виде сосулек.

— А на потолке почему?

— Просто, ведь это паровое отопление. Думаю, что, если бы было больше опыта, можно было бы предусмотреть и выключить отопление, может быть, тот, кто мог бы выключить, умер или уехал, во всяком случае факт таков, что с потолка сосульки просто свисали, а снизу были сталагмиты, как в пещерах. Это выглядело очень неудобно. Студенты сидели в пальто, надевали на себя пальто сколько можно. Свет еще электрический был, даже можно было заниматься, но было в общем не легко и в общем тяжело. Студентов становилось все меньше и меньше, и чаще кто-либо из преподавателей не являлся. Практически занятия — я не скажу, что полностью прекратились, — но система занятий была нарушена. Страшнее всего было, что страшными казались лица студентов, сотрудников, знакомых. А как меняется лицо человека, который глядит так, как глядели мы? Этого словами описать нельзя. Может быть, это можно было бы нарисовать. Это просто страшно. Не так страшно, когда человек просто болен и умирает или если умирает необычно (может быть, цинично так сказать), которого убил снаряд или бомба. Но то, что делалось в результате голода, это было особенно ужасно, как менялся облик человека. Менялся облик, лицо, человек был вроде движущегося трупа, а известно, что труп — это зрелище тяжелое. Эти желтые лица очень страшны, причем заметно остановившийся взгляд. Это не то что когда болит рука или нога и человек очень сильно мучается. Тут весь организм расстраивался, часто имелись нарушения психических процессов. Желтое лицо, остановившийся взгляд, заметно терялся голос, нельзя было по голосу судить — мужчина это или женщина, дребезжащий голос, существо, потерявшее возраст, пол...» (Ляпин Е. С.)

...Муки были страшные, но и радости выпадали такие, что запоминались навсегда.

Никто из блокадников про себя не думает: мы совершили подвиг, проявили героизм. Нет. Но спустя десятилетия для некоторых тяжкие годы эти стали как бы оправданием

жизни, знаком гражданской доблести, мерой соучастия в Победе. Чувство это сродни тому самому чувству, какое есть у солдата Великой Отечественной войны. И еще есть у блокадников знание беспредельных возможностей человека, в том числе и своих возможностей, уважение к себе. Конечно, много противоречивого возбуждает каждое прикосновение к прошлому, у каждого свое; ужас и печаль, стыд и красота, отвращение и любовь — все смешалось столь плотно, что иногда нет сил отщепить какое-либо одно чувство.

Перед нашим приходом *Павел Филиппович Губчевский*, научный сотрудник Эрмитажа, внутренне готовясь к разговору, размышлял: что же такое была для него блокада? Потом он нам сам признался в этом.

«— Мне было трудно самому себе на это ответить. Снаряды? Ну так они же всюду. Бомбы? Они всюду. Голод? Ну, он, конечно, не такой, как всюду, а в более страшной форме, но ведь и всюду не так уже сладко жилось. Смерти? Так они всюду были, и еще какие! Ну, может быть, только не в такой концентрированной форме. И мне показалось, когда я сам захотел отдать себе отчет (никогда об этом я нигде не говорил и сам с собой никогда не говорил), что блокада — это раньше всего человек. А человек — он разный. И в силу этого, по-видимому, существует и очень разное восприятие вот этого понятия „блокада“ — в зависимости от индивидуальности человека.

И вот что удивительно: после этого я подумал следующее: что ни разу в жизни, ни до, ни после блокады, я не имел такой осознанной и определенной цели в своей жизни. Она, эта цель, даже казалась близкой. Другое дело, что она все время отодвигалась по разным причинам. Но ведь что происходило во мне, в человеке? Я не какой-нибудь руководитель или кто-то, я обыкновенный, простой человек, и я имел четкую и определенную цель, которая всегда до этого (и вот сейчас, сегодня) была растушевана и размыта. А тогда она была определенной. Вот что для меня блокада (конечно, и все остальное, о чем вам уже многие рассказывали). Человек приобрел какую-то удивительную

цельность. И как бы вам сказать? Это тоже, наверно, как-то дико звучит: я чувствовал, что во мне что-то снялось, рас-свободилось. Конечно, были тысячи „нельзя“ и „не могу“. Конечно, я не мог выехать за кольцо блокады или поехать на черноморский курорт. И конечно, я не мог есть вкусные вещи. Более того, я выполнял множество разных обязанностей — и по моему положению (я был начальником охраны больших зданий), и по моему гражданскому долгу. Мне, конечно, приказывали, я получал инструкции, я знал, что-то я дол-жен, что-то обя-зан сделать, но это „обязан“ было для меня свободой. Наверно, вам диким кажется то, что я говорю, но я хочу быть с вами искренним, это так было, и это тоже блокада.

— Вот вы говорите, что все время чувствовали цель, видели ее...

— Я сидел в своей комнате и ждал очередного обстрела, который больше выматывал душу тем, что он долго тянется, — понимаете? — и думал: и какой же я был чудак, как я жил раньше! Я редко ходил в филармонию, редко ходил в Кировский театр. А ведь как много для этого нужно! Нужно, чтобы в театре было тепло, чтобы его осветили, чтобы собрали более сотни оркестрантов и чтобы они были сыты, чтобы собрали артистов балета, чтобы публика могла приехать туда, и тысяча еще „чтобы“! И этого я не ценил, этого не замечал. Я не думал тогда, что вот кончится блокада и я буду есть пшеничную кашу целыми кастрюльками (наверно, вы это слышали, наверно, вам это некоторые блокадники говорят). У меня этого как-то не было. А была такая вещь: появилась цель найти в жизни то большое, если говорить громкими словами, что-то духовное, такое, что раньше мало ценил, мало пользовался, не смог осуществить».

В залах Эрмитажа, всегда переполненных посетителями, звучат на всех языках приглушенные голоса экскурсоводов. Картины, скульптуры, узорчатые паркеты, — кажется, что так было всегда и что иначе и быть не могло в этом прославленном источнике красоты, за которой приезжают из далеких стран... Но в служебной комнате несколь-

ко сотрудников музея рассказывают, как они жили здесь в войну.

Александра Михайловна Амосова:

«— Здесь, под библиотечным зданием, был устроен морг. Периодически вывозили из этого морга покойников. Но я очень тяжелый случай помню. Это было в конце марта. Иосиф Абгарович Орбели, директор Эрмитажа, кажется, тридцатого марта уехал. Очень мало нас осталось здесь народа. Несколько человек было из рабочей команды. При Орбели еще оформлены были документы на захоронение. Увезли инженеров группы, в том числе и наших старших научных сотрудников. И там же был наш профессор Куббе и еще некоторые известные люди».

Ольга Эрнестовна Михайлова:

«— Я вот этот эпизод хочу еще как-то дополнить, потому что он запечатлелся особенно глубоко и сильно, нельзя его забыть.

— Вы людей этих знали?

— Да... Эта большая машина, причем они все свои, знакомые, в общем, близкие тебе люди, потому что коллеги, распостертые в разных положениях... Ну, знаете, это ведь никогда в жизни не забудешь. А это, может быть, и писать не надо и говорить не надо?»

«Не надо» — это человек нас щадит, оберегает. От тяжести, которую сам несет всю жизнь. Сам он от этого уйти не может — «отвернуться не может».

«— Тут уже не знаешь, где фантазия, где правда, потому что правда была так фантастична, что ты не могла разобраться, что правда, что неправда, что фантазия, что ложь. Понимаете? Но ведь это верно, и не расскажешь все до конца.

— Почему?

— Только тот, кто это пережил, тот понимает».

Последнее — довольно распространенное заблуждение. Исключительности тут никакой нет, человек может понять и представить все, что угодно. Любые лишения и тяготы блокадной жизни. Для этого надо лишь рассказать все как

следует, не утаивая, не приукрашивая ни в ту ни в другую сторону. Заблуждение это и потому, что сами блокадники многое не могут себе вообразить — как это могло быть с ними? — не верят себе же. Человеческая память устроена коварно. Другое дело, что рассказать, поведать о том, что было, изобразить это — действительно весьма и весьма нелегко.

И тут хоть и невпопад, не по теме, а нет сил обойти, отложить на потом одно место из рассказа Павла Филипповича Губчевского. Случай, который чем дальше, тем больше заставлял о себе думать.

«— Тридцать два снаряда попало. Степень разрушения разная: снаряд в Гербовом зале упал где-то в двух метрах от Малого тронного зала. По каким законам баллистики, я не знаю, но осколки рванули сюда, в Малый тронный зал. В Гербовом зале дырка в полу вниз, в Растреллевскую галерею, и больше ничего. А Малый тронный зал весь изрешечен осколками. Сбита люстра, ее не удалось восстановить — хрупкая очень бронза была... Кроме того, осколки буквально изрешетили стены и потолок. Если на стенах ничего не было (вот эти лионские бархаты, шитые серебром, очень стильные, хорошие бархаты, были навиты на валы и увезены, эвакуированы), то роспись там феноменально трудная для реставрирования. Вид это имело ужасный. Или та лестница, по которой вы сейчас поднимаетесь в музей — Посольская, Иорданская, Главный подъезд, как угодно ее называйте, — она имела тоже ужасный вид. Снаряд сделал пробоину в перекрытии этой лестницы. Если плафон только почернел, стал черным, потому что почти три года непрерывно менявшиеся температуры его сделали таким, то вся околосафоновая роспись и все потолки — это железо (после пожара тысяча восемьсот тридцать седьмого года сделали железные потолки). Железо проржавело, не выдержало, умирало. И вот эта роспись, которую вы сейчас видите, все это осыпалось чешуйками чуть побольше этой книжицы. Люди, наши сотрудники, ходили по этим чешуйкам. Вид, конечно, жалкий.

— А картины все увезены были?